



К. Г. Исупов

# ДИАЛОГ СТОЛИЦ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

От Рима  
к Вавилону

<sup>1</sup> Основные тексты,  
отражающие диалог  
столиц и библиографию во-  
проса см. в антологич.:  
Москва/Петербург; pro et  
contra / Сост. К. Г. Исупов.  
СПб., 2000.

Диалог столиц фактически начался еще тогда, когда на месте будущего городка Санкт-Петербурга не было забыто ни одной сваи. Новая культура возникает как игра. В Преображенском<sup>1</sup> шла игра всерьез: Гордон нешуточно учил ружейным приемам и взятию крепостей, артикулу и фортификации. Игрушечные бои завершались нешуточными увечьями солдат-мальчишек – сверстников молодого государя. На потребу морской пехоте сооружается ботик с игрушечными пушечками по бортам. Также не были забыты маскарады и фейерверки в Немецкой слободе.

С позиции византийского благолепия (т.е. московской) открытое попрание традиций не прошло даже в игровой форме. Когда царь подрос, а его занятия из сферы прекрасной бесполезности перешли в разряд насущного государственного деяния, всякая игра кончилась (если быть точным, игровое начало в петровской культуре никогда не исчезало без остатка: оно видоизменилось, перейдя в формы ассамблей, Всешутейшего Собора и т. п.). Мир развлечений, как и иные формы гражданского поведения, в эпоху Петра строился рационально. Неявка на ассамблею означала манкирование царским указом. Идеальное государство Платона, где все пляшут и поют под строжайшим водительством начальников, осуществлялось в России наяву и внедрялось в державный механизм законопослушания.

Петербург – осуществленная утопия. Это город-эксперимент, будущая модель всего государства. Он торопливо обрастает сначала внешними признаками мировой столицы, чтобы могла начаться решительная обработка человеческого материала: ритуализация общения на новый лад, тотальная регулярность во всех планах поведения – от лично-бытового (кофе, табак) до сословного (иерархия чинов в отдельной семье отражала общегосударственную «Табель о рангах»). Петр строил Европу внутреннюю (с чертами регулярного государства, что не во всем ему удавалось) и Европу внешнюю (экспорт европейской «наружности»).

В результате Петр выстроил не мировой город, а макет мировой столицы. Учрежденные им органы государственного управления также в первых порах были полумитацией, полуреальностью. Пройдет немало времени, пока московское «внутреннее» и петербургское «внешнее» войдут в состояние относительного равновесия. Реальностью стало одно: в России утвердилась новая столица с европейским режимом жизни, каковой предписывался и иным городам Империи.

Когда однажды мастеровые, вывезенные из Москвы для мануфактурных работ, запели вдруг на улице, они немедленно были наказаны «кошками». В Москве на таковой поступок никто бы не обратил внимания. Наказание последовало не за пение, а за нарушение имперской тишины.

Империю интересует не то, что ты есть, а то, кем ты кажешься. «Дурак, сего в беседе неговорят», – услышал лейтенант Мишу ков от Петра в ответ на дерзкий отзыв о царевиче Алексее.

Первые памятники столичного диалога обретают форму молитвенной просьбы к ныне царствующему граду от первопрестольной.

Князь М. М. Щербатов написал в 1787 г. «Прошение Москвы о забвении ея», где один абстрактный принцип – древний патриотизм в его московской ориентации – вступает в диалог с другим абстрактным принципом – державным петербургоцентризмом. Автор знал об отношении Екатерины II к Москве. Императрица прямо писала: «Я вовсе не люблю Москвы, но не имею никакого предубеждения против Петербурга <...>. Москва – столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого <...>»<sup>2</sup>. Ситуация обязывала не к спору личностей, а осторожному диалогу двух типов патриотизма. Москва для князя М. М. Щербатова – это святое место, которое не должно быть пусто. Единственное, что он может – воззвать к исторической памяти, разбудить династические воспоминания, воспламенить подвижнической историей древнего города, очаровать и потрясти голосом скорби, плачем осиротевшего града. Текст князя Щербатова есть и панегирик и «плач города», плач Третьего Рима, и составлен он по всем правилам антично-византийской риторики – жанра, который как раз плачем и называется<sup>3</sup>.

Для ранних панегиристов новой столицы лишь несколько имен из списка мировых городов несли особый политический и религиозный смысл. Это Рим, Константинополь, Москва и Иерусалим. Первые три виделись воплощениями единого Вечного Града, последовательно развернутыми в истории христианского человечества. Но прежде чем диалогически связаться с Петербургом, образ Рима, вобравший в свои культурно-исторические объемы и Константинополь, и Москву, многократно расщепляется. Петербург есть новый Рим с общим для обеих столиц патроном-апостолом – св. Петром. В эпоху Петра Рим исторический был твердней неправой веры. Поэтому Петербург, наследующий конфессиональный приоритет Москвы как «Третьего Рима», стал новой святой землей, из которой Москва видится столь же ветхой и исторически ненадежной ойкуменой, какой видится из Москвы Рим древних кесарей. «Создавалась парадигма идей, в которой Рим «папезный» и Москва допетровская объединялись в противопоставлении Петербургу – истинному Граду Святого Петра»<sup>4</sup>. С другой стороны, теократические амбиции Петербурга совпадают с его имперскими притязаниями на «Последний

<sup>2</sup> Цит. по: *Москва в истории и литературе / Сост. М. Ковал евский. М., 1916.*

<sup>3</sup> С. 167 (большая часть сборника перепечатана в издании: *Московский летописец. Сб. Вып. I. М., 1988. 352 с.*)

<sup>4</sup> См. *позднейший «Плач церквей московских» <автор: В. К.>, публ. и послесл. Н. А. Скворцова (Русский Архив. 1883. Кн. 2. № 6. С. 288-299). См. также тексты, как поэму «Плач о падении Константинополя» или сочинение Дуки с таким же названием (оба – XV века) в кн.: Памятники византийской литературы IX-XIV веков. М., 1969. С. 417-424.*

<sup>4</sup> Лотман Ю. М., Успенский Б. А. *Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Великого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 242.*

Рим» подлинного цезаризма, что откровенно фиксируется в римской эмблематике герба Петербурга<sup>5</sup>.

Начавшийся уже при Петре Великом процесс сближения имени первого русского императора с титулом кесаря (Петр-Август) и именем святого покровителя Петербурга, апостола Петра, к середине XVIII в. превращает название «Санкт-Петербург» в сакрально-цивильный оксюморон.

Панегирический образ Петербурга охотно опирается на риторические традиции восхваления городов<sup>6</sup>. Так, «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие...» в декабре 1756 г. публикуют за подписью «А. Н.» «Похвалу Петербургу»: «Ты Риму стал подобен», а Ф. О. Туманский, демонстративно указавший на обложке своего журнала «Российский магазин»: «Издается в Граде Святого Петра», открыл первый номер (1792 г.) описанием Петербурга.

Позднейшие комментаторы ранних имен новой столицы будут настаивать на варианте «Петрополь», т. е. на «имени, которым Головин первоначально “окрестил” новый городок на берегах Невы: это греко-византийское название “Петрополь” сроднее и ближе русскому слуху, чем чуждый ему шведско-голландско-немецкий “Санкт-Петербург”»<sup>7</sup>. Н. В. Голицын окрашивает свои аргументы в «московские» интонации.

Преємственность Второго Рима и Петрополя осознавалась народным сознанием через мифологию основания Константинополя: легенда об орле, указавшем «великому и равноапостольскому царю Константину <...> во время шествия от Халкидона водою до Византии» место для города, напрямую связывалось с подобным эпизодом в легендах об основании Петербурга<sup>8</sup>. Иерусалимская символика, подпитываемая «римским текстом», все более прочно связывается с Москвой (в широком реестре значений – от «Нового Иерусалима» (подмосковного Храма Воскресения) патриарха Никона до одиозной реакции Ф. Ф. Вигеля на послепожарный Кремль: «Наш Сион, наш Капитолий»<sup>9</sup>).

Ранние диалоги столиц идут на языке спора Рима «Первого» и Рима «Второго». Москве, холодно встретившей итоги переворота 1762 г., пришлось выслушать от Екатерины II попреки в утрате «virtus» с утратой Москвы статуса столицы: «Говорят, <...> что это место (Петербург. – К. И.) менее, чем Москва, подходит для господства над империей и что это предприятие Петра Великого похоже на предприятие Константина, который перенес в Византию престол империи и покинул Рим, [причем] римляне не знали, где искать свою отчизну, и, так как они не видели более всего того, что в Риме воодушевляло их усердие и любовь к отечеству, то их доблести мало-помалу падали и, наконец, совершенно уничтожились»<sup>10</sup>.

Гость Петербурга (окт. 1773 – март 1774), Дидро пронизательно указывал императрице на уязвимость Петербурга как пограничного города. «Страна, в которой столица помещена на краю государства, –

<sup>5</sup> Витинбахов Г. В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Семиотика города и городской культуры (Труды по знакомым системам. XVIII. Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 664). Тарту, 1984. С. 46-55.

<sup>6</sup> Classen C. J. Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Landesurbium in der anliken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwelften Jahrhunderts. Hildesheim; New York, 1980. 128 S.

<sup>7</sup> Голицын Н. В. Петербург или Петрополь? СПб., 1903. С. 10. См. также: Энгельгардт. О дне петербургского юбилея // Новое время. 1903. № 9722.

<sup>8</sup> О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга / Публ. Г. В. Еснова (Русский архив. 1983. № 10-11. С. 836). См.: Логачев К. И., Соболев В. С. Описание Санкт-Петербурга. Препринт. Л., 1987. 33 с.

<sup>9</sup> Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891-1893. Ч. IV. С. 121-122.

<sup>10</sup> Цит. по кн.: Москва в истории и литературе / Сост. Михаил Коваленский. М., 1916. С. 166-167.

говорил Дидро, ссылаясь на слова С. К. Нарышкина, – похожа на животное, у которого сердце находилось бы на кончике пальца, или желудок у большого пальца ноги». Дидро не смог удержаться от совета обнести Петербург поясом стен, «достойным римлян»<sup>11</sup>. Французский просветитель то мыслил мировую столицу в образе живого органического тела, то представлял ее себе как улей, что в целом соответствовало западноевропейской традиции и мировой мифологии полиса-организма.

Но замысел Петра I осуществлялся наперекор этой традиции: в облике Петербурга все резче проявлялся поединок цивилизации и природы. Преобразование «натуры» в человеческое гнездо может мыслиться при этом и как пересоздание национального типа (характера, стиля жизни). А. П. Сумароков скажет в 1755 году: «Петр природу пременяет, Новы души нам влагает»<sup>12</sup>. Оценка Петра I не только как цивилизатора, но и в роли культуртрегера также имеет место в XVIII веке (здесь пригодились традиционные стереотипы цезаря-мечената, «просвещенного государя» и т. п.).

Первая реакция Москвы на Петербург – это ужас «органического» перед «механическим». Истоки этой эмоции установить нетрудно. Петербург возник как памятник цивилизаторского энтузиазма. По наблюдениям историков, архитектурный облик первоначального Петербурга сочетал в себе «живописность» московского типа (посадские слободы Городского острова, устройство городских усадеб по старомосковским традициям) и классическую «регулярность»<sup>13</sup>. Среди проектов «идеального Города», воплощением которого должна явиться новая Столица, известен и отвергнутый план Ж.-П. Леблона (1717), в котором угадываются черты исторического центра Москвы. Со временем над всеми включениями в пространственные объемы Петербурга ренессансного классицизма, ампира, готики и барокко встал принцип паноптикума – сквозной обзорности, топологической однородности и геометрической непрерывности, т. е. имперский принцип единого государственного контроля и управления всеми сегментами государственной реальности из любой ее точки. Петербург осуществляется как идеальная Модель Империи и как ее градостроительная парадигма: по петербургскому типу реорганизуются Тверь, Кострома, Ярославль; оазисы Петербурга появляются и в Москве (Петровская Академия и т. п.). И все же петербургские вкрапления в пространстве Москвы осознавались как неорганические, о чем говорит, в частности, П. Боборыкин в «Письмах о Москве» (1881). Пространственная органика Москвы весьма часто противопоставляется топологическому универсализму Петербурга, в природе которого было умение создавать образы иных городов – Рима, Венеции, Амстердама, встает в этот ряд и образ Москвы.

Противопоставление «органической» Москвы «механическому» Петербургу образует в диалоге столиц самостоятельную линию: «Москва»/«Петербург» оцениваются как «естественное»/«искусственное», мы встретим его в гаршинских «Петербургских письмах» (1882). Образ города-растения в русской традиции восходит к мемуарам

<sup>11</sup> Дидро Дени.

Собр. соч.: В 10 т. М., 1947. Т. 10. С. 192, 193, 195, 206.

<sup>12</sup> Ежемес. соч...

Март. 1755. С. 215. Ср. у В. К. Тредиаковского: в «Похвале...» 1752 г. («О! прежде дебрь се колы населена! Мы град в тебе престольный видим ныне!») и у И. Ф. Богдановича в 1773 г.: «Петром основанный, преславный ныне град, где прежде царствовал единый только хлад» (Цит. по кн. : Петербург в русской поэзии XVIII – нач. XX вв. Л., 1988. С. 36, 43).

<sup>13</sup> Иконников А. В.

Петербург и Москва (К вопросу о русской градостроительной традиции) // Эстетическая выразительность города. М., 1986. С. 110.

А. Григорьева; он пишет о Москве, «свободно, растительно расстилавшейся в течение столетий <...>»<sup>14</sup>. О рукотворном Петербурге и нерукотворной Москве писал Н. Мельгунов: «Петебург – город сделанный, Москва – сделавшийся». Еще ранее поэт и сенатор М. Дмитриев рассуждал о том, что Петербург «создан сильною рукой», а город Москва «сложился сам собой»<sup>15</sup>. Много лет спустя В. Вейдле процитирует медитацию о Москве и Петербурге балтийского немца Виктора Гена: «Петербург – искусственный город, возникший необычайно быстро, и когда российское государство распадется, он исчезнет с такой же быстротой»<sup>16</sup>.

Социально-психологической основой для восприятия Петербурга как «обобщенной мировой столицы», воспроизводящей в своем облике силуэты столичных центров, служили, помимо прочих, два важных обстоятельства: 1) восприятие Петербурга как старого города; 2) эклектическая архитектурная стилистика.

Вольтер, посвящая графу И. И. Шувалову свою трагедию «Олимпия», отражал общеевропейский взгляд на Невскую столицу как на давний исторический факт: «Не прошло и 60 лет с той поры, как положено было начало вашей империи Петербургу <...>»<sup>17</sup>. Немногом раньше В. К. Тредиаковский в «Похвале Ижерской земле...» (1752) сказал: «Уж древним всем он ныне равным стал <...>». Образ ускоренного исторического времени, в котором пребывает и ширится Петербург, становится обязательным для отечественной петербургологии. Так, автор знаменитого «Конька-Горбунка» в «Прощании с Петербургом» (1835) отстаивает ту мысль, что только с Петром I «Святая Русь <...>, иной жизнью расцветая, Годами веки протекла!..» В соответствии с формулой «Годами юный, ветхий славой» П. П. Ершов утверждает древность Петербурга не календарно-археологически («годы»), а ценностно-исторически («слава»).

Убыстрение исторического времени, заданное Петербургом, внесло в историческое сознание второй половины XVIII – начала XIX вв. по-новому акцентированную идею прогресса; свое значение для этого процесса имело и знакомство с европейской философско-исторической мыслью (в частности, с трудами Гердера). Диалог столиц обретает со временем вид спора «прогрессистов» и «консерваторов». Москва стала восприниматься более архаичной, чем она есть. Москва внезапно постарела в глазах современников, черты «азиатщины» и «китайщины» выступили на первый план. Счет европейского возраста «просвещенного» Петербурга, по сравнению с «отсталой» Москвой, пошел на столетия. В «Петербургских письмах» (1835) В. Ф. Одоевского, где Москва именуется «мачехой», о Петербурге говорится, что он «сотнею лет обогнал Москву». Здесь в чаадаевских интонациях констатируется отсутствие у русских «стремления к просвещению». О том же говорит персонаж И. И. Панаева (позиция автора, симпатии которого на стороне Москвы, не совпадают с декларациями героя): «Москва, конечно, город большой, но не европейский <...>

<sup>14</sup> Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 56. Анализ этого мотива см.: Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему) // Семиотика города... С. 11-12.

<sup>15</sup> Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города... С. 36.

<sup>16</sup> Вейдле В. В. Петербургские пророчества // Современные записки. Париж, 1939. Т. 69. С. 349.

<sup>17</sup> Литературное наследство. М., 1937. Т. 29/30. С. 28.

Москва отстала на столетие от Петербурга»<sup>18</sup>. Предмет перманентного раздражения москвофилов – разговоры о том, что Москва, как «все губернские города, отстала целым веком от Петербурга»<sup>19</sup>. Вспомним, что в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1835) Пушкин вспоминает о противопоставлении столиц как о чем-то архаичном: «Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало»; однако именно в его творчестве оппозиция «смирненной Москвы» и «блестящего Петербурга», «порфиросной вдовы» и «младшей столицы» сильнее всего стимулировала новые повороты темы.

Редко кто из участников диалога Москва / Петербург обходится без оглядки на Пушкина<sup>20</sup>, причем в руках цитирующих его писателей и публицистов он оказывается то адептом Москвы, то певцом Петербурга (так, для И. И. Панаева Пушкин – москвич по преимуществу). Пушкин, как всегда, поразительно точен в исторических характеристиках Москвы и Петербурга. Он говорит: «Петр I не любил Москвы <...> На дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности»<sup>21</sup>.

Статья Пушкина, как и гоголевские «Петербургские заметки 1836 года» (первая часть которых под именем «Москва и Петербург» была известна Пушкину) оказались своего рода конспектом последующих интерпретаций Москвы и Петербурга; заданы основные смысловые парадигмы, основной список контрастирующих признаков.

Петербургу было суждено стать городом, стиливой доминантой которого оказалась эклектика<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Гносеология оперирует понятием конвергентной эклектики, — «первичной формы освоения новой проблематики» (Петров М. Эклектика // Фил ос. Энцикл. В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 543).

Итогом петербургской эклектики оказалась рядоположенность таких архитектурных опытов, которые в другой ситуации не решились бы на обретение общего пространственного контекста. Так, храм Воскресения, именуемый иногда Спасом-на-Крови, открыто рифмующийся с московским Покровским собором (Василия Блаженного), выведен по горизонтальной линии Екатерининского канала на семантическое сближение с римской колоннадой Казанского собора, столь же откровенно рифмующегося с центральным архитектурным символом католического мира – собором св. Петра. Город, пространственные вертикали которого охотно сочетают готический шпиль и башню минарета, ростральную колонну и луковку православной церкви; город, ставящий в параллель ампира садовой решетки и слепые стены островной цитадели, – такой город рискует оказаться метагородом, т. е. образом самого себя, мыслью и грезой о себе самом.

Мы подошли здесь к важной культурно-исторической черте, резко разнящей Москву и Петербург: столица на Неве, изначально задуманная на метаязыках наличных мировых столиц, возникает как метагород и Город одновременно. Петербург – город повышенной знаковости (гиперсемиотичности). Петербург в своей внешней предметной выразительности оказывается (в глазах воспринимающего) еще и изображением, «картинкой», т. е. приобретает вид художественного

<sup>23</sup> Ишимова А. Канюки 1844, или Поездка в Москву. СПб., 1844. С. 27.

<sup>24</sup> Канонин Я. Путешествие внутрь страны // Отечественные записки, 1871. Т. 195. № 3/4. С. 420.

<sup>25</sup> Загоскин М. Н. Избранное. М., 1988. С. 185-186. Традиция, благополучно дожившая до наших дней. Фирма, которой принадлежит честь разгрома и «реставрации» гостиницы «Англетер» («Астория»), носила имя «Пенфасадрестрой».

<sup>26</sup> См. спор Ф. Достоевского с де Кюстинином по этому поводу в «Петербургской летописи» (1847); там же – о Москве и Петербурге (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 25-27, 111).

<sup>27</sup> См.: Берков П. Н. Идея Петербурга-Ленинграда в русской литературе XIX века // Звезда. 1957. № 6.

<sup>28</sup> См.: Кнабе Г. С. Превный Рим – история и современность. Очерки. М., 1986. С. 175-198. Только петербургский чиновник пог, как Чичиков, дочитав афишу до конца, заглянуть за изнанку: нет ли и там чего-нибудь. Это жест человека, подозревающего наличие обратной стороны у чего, что ни есть на свете. Маленькое красит жест на крыше в розовый цвет традиция дошла до XXI в).

текста или живого организма с чертами самосознания («души»). Двойная знаковая фактура Петербурга (когда город оказывается знаком самого себя) решительно противостоит «естественному» языку Москвы, не порождающему знаков второго порядка.

Черты «изображенного города» усматривает в Петербурге русская литература и публицистика, начиная с Гоголя и Достоевского. Петербург – фантом, призрак, город, тающий умышление против человека (см. деление Достоевским городов на «умышленные» и «неумышленные»), станет устойчивым стереотипом. Его стабильности в немалой мере поспособствует и другая черта эклектического творчества: у этого «стиля» нет возраста, когда ему в своей эстетической среде ничего не противостоит. Эклектика бросает свои стилистические рефлекссы «безвозрастности» на сколь угодно тонко продуманные вкрапления модерна.

В первой половине XIX в. у Петербурга складывается репутация города отчужденных людей, его социально-психологический климат формируется в космосе «чужих». Отмеченное Пушкиным «недоброжелательство» как отличительная черта петербуржцев не раз комментировалось позднейшей журнальной социологией и литературой – высокой и низовой («Черта радушия – вовсе не петербургская», – отмечает А. Ишимова<sup>23</sup>; «Никто тебя не замечает», – жалуется герой очерка Я. Канонина<sup>24</sup>; петербургский щеголь из повести М. Загоскина замечает, что «гостеприимство есть добродетель всех непросвещенных и варварских народов <...>»<sup>25</sup>).

Петербург – город-декорация, фасад Империи<sup>26</sup>, город-театр, обитатели которого призваны к жестко регламентированному ролевому поведению. «Регулярная» архитектура Петербурга, стилистическая градостроительная пестрота придали Невской столице черты города-компиляции, города-коллекции и города-музея. Только в Петербурге могла родиться мечта Гоголя об улице-ансамбле (архитектурной парадигме, в которой были бы представлены основные стили). Восприятие Петербурга как архитектурной шпаргалки сказалось и на описании иных городов<sup>27</sup>. «Рифмуясь» с зодчеством Запада и Востока, Петербург приучил русских людей и к другим городам подбирать архитектурную «рифму». Ф. И. Тютчеву в 1847 году Курск напомнил Флоренцию; Н. В. Гоголь, побывав в 1849 году в Калуге, увидел в ней черты Константинополя, а П. Киреевского Мюнхен навел на воспоминания о Москве.

Контраст градостроительных решений Москвы и Петербурга в некотором специфическом смысле напоминает о различиях в архитектуре Афин и Рима. Если декоративная пластика древнегреческого зодчества вырабатывалась из общего со зданием материала, то в Риме основная конструкция прикрывалась облицовочным слоем из другого материала, благодаря чему возникало художественное напряжение между предметно разнородными структурами<sup>28</sup>. Подобным образом окраска ряда домов Невского проспекта в желтый («царский») цвет

имитировала Золотые дома неронового Рима. Одним из приемов, превративших Петербург в «гениальную декорацию» (по слову Ан. Чеботаревской) стало намеренно создаваемое противоречие между фасадом и функцией сооружения. Так, псевдоримская шкатулка Конногвардейского манежа (Дж. Кваренги, 1804-1807), снабженная позднее мраморными группами Диоскуров, пришедших под колонны портика с Капитолийского холма в Риме, вряд ли сообщала своим облоком только о том, что перед нами крытый ипподром: это было бы в ущерб семантической полноте капитолийской «рифмы».

Каменные одежды Вечного Города, которыми Петербург «предметно» манифестирует конфессионально-имперскую преемственность великих мировых держав, вступали в очевидное противоречие с московскими претензиями на «Третий Рим». Легальная публицистика не всегда решалась выносить диалог столиц в открытый контекст и спорить с «Четвертым Римом» отечественных цезарей; зато с успехом делала это художественная литература. В незавершенной повести *петербургского* цикла Н. В. Гоголя «Рим» (1842) антитеза «Рим/Париж» читается как «Восток/Запад», если вспомнить, что относительно Парижа «Рим» и есть «Восток». Оппозиция «Рим/Париж» двойится как в плане пространственно-географическом («Восток/Запад»), так и в историко-идеологическом («Париж/Рим» прочитываются как «Петербург/Москва»). Имена мировых городов, образующих центральную оппозицию текста, развертываются в два ряда смысловых сопоставлений: «Рим» (ему соответствуют «Восток», «Россия», «Москва», «культура», «вечное», «прошлое как обетование будущего») – «Париж» (ему соответствуют «Запад», «Европа», «Петербург», «цивилизация», «временное», «нынешнее как социальная энтропия») <sup>29</sup>.

Гоголю важно было утвердить ту философско-историческую точку зрения, согласно которой «петербургский» путь представляется национально-историческим самообманом. Гоголь решение будущего России предполагал искать не столько на особых путях европейско-азиатского культурного синтеза, сколько в опоре на национальную память и достоинство («гордую народность»). Позиция Гоголя частично совпадает со славянофильской: как допетровская Москва в идеологических программах славянофильства была именем субстанции русского национального духа, так и Вечный Город Гоголя знаменует некую национально-почвенную изначальность.

Завершается повесть описанием римского карнавала. В народном празднике вечного обновления «абсолютное прошлое» Рима оборачивается «абсолютным будущим», а само слово «вечность» для карнавально-праздничной точки зрения несет не контексты угромо-одиозного провиденциализма (или иных типов роковой детерминации), но смысл открытого в будущее исторического творчества: «Зрелись во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец» <sup>30</sup>. Гоголевский историзм отметил возможность сближения Рима и Москвы. «Кто сильно вжился в жизнь

<sup>29</sup> Из последних работ о «Риме» см.: Ивлев В. Рим в мироощущении Гоголя // Литературоведение XXI века. Анализ текста: метод и результат. СПб., 1996. С. 68-74.

<sup>30</sup> Ср. телеологию «вечности» в образе Рима у Э. Кинэ (Кинэ Э. Отрывки из путешествия в Италию // Телескоп. 1836. Ч. 34. С. 532).



римскую, – говорил Гоголь, – тому после Рима только Москва и может нравиться»<sup>31</sup>.

В борьбе за «римские» приоритеты Москва обретает новую мифологию, которая в определенном смысле может считаться сублимацией римских контекстов. Таким специфически московским мифом стал «Город-Феникс», заместивший в глазах современников послепожарную Москву. Восстающая из пепла Москва надолго заняла внимание всего мира, как отметил Герцен. Для К. Аксакова Москва «возникла вновь из пепла. И с нею русская земля»; Вл. Бенедиктов писал: «Вот она! Давно ль из пепла? А взгляните, какова?». Москве-Фениксу посвятил свои строки Дж. Г. Н. Байрон: «Лишь тот грядущий огонь с тобой сравнится, В котором мир испепелится, Который царства все сожжет»<sup>32</sup>. «Русским Фениксом, пламенем объятым», назвал Москву Т. Кернер. Образ Града Несгораемого дошел до XX века: Вяч. Иванов включил во второй том «Сог арденс» (1911) стихотворение о Москве: «А Град горит и не сгорает, Червонный зыбля пересвет»<sup>33</sup>. Для мэтра символистской культуры Москва, возникающая из очистительной стихии, значима «огневым» родством с «пламенеющим сердцем». Важен здесь фон специфической эмблематики Феникса, содержащей указание на общинный способ жизни. Так, в статье другого лидера символизма, А. Белого, мифологемы Сфинкса и Феникса раскрываются как смысловые прототипы «государственности» и «общинности»<sup>34</sup>.

Контрастным фоном для Москвы – Города-Феникса служила прочно установившаяся за Петербургом мифология «Обреченного Града». Примером того, сколь устойчива репутация Москвы – несгораемого существа (на фоне «Быть Петербургу пусту!») послужат для нас два текста, весьма далеко разведенные во времени. В первом идет речь о сгоревшей в 1812 г. деревянной Москве, во втором – о видении скорой гибели Петербурга, причем элементы исторических уподоблений столиц знаменитым руинам древности – одни и те же. «Развалины! Мы любуемся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбака <...>, – да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей <...>, над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют <...>. А Москва? <...> Благодаря Бога, она стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, правда, но зато подпала крылья хищному орлу <...>»<sup>35</sup>. Второй текст – медитация В. Гена, приведенная В. Вейдле: «Он построен в северной пустыне и <...> скоро будет похож на пустынные развалины Баальбека и Пальмиры»<sup>36</sup>.

Здесь необходимо вспомнить еще об одном ценностном стереотипе мирового города, в котором осмыслиется Петербург – носитель «цивилизации», как энтропийного оборота «культуры». Это «Город-Вавилон». Весьма примечательно, что образ Вавилона в раннюю пору диалога столиц не сразу находит «свою» смысловую корреспонденцию. Именно в 1812 году, т. е. во времена решительного прояснения бицентризма столиц как судьбоносного фактора русской истории,

<sup>31</sup> Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 229. См. параллельную публикацию описания масленицы в Москве и диккенсовских картин римского карнавала в «Московском городском листке» за 1847 год.

<sup>32</sup> Москва в истории и литературе... С. 338.

<sup>33</sup> Там же. С. 257, 258.

<sup>34</sup> Белый А. Феникс // Весы. 1906. № 1. С. 17-29.

<sup>35</sup> Загоскин М. Н. Ук. оч. С. 132.

<sup>36</sup> Вейдле В. В. Ук. соч. С. 348-349.

<sup>37</sup> «Санкт-Петербургский вестник», издаваемый Обществом любителей словесности, наук и художеств. СПб., 1812. Ч. III. № 10. С. 23-24.

<sup>38</sup> Цит. по кн.: Долгополов Л. К. На рубеже веков. Л., 1985. С. 165.

<sup>39</sup> Мордовцев Д. Л. Печать в провинции // Дело. 1875. № 9. С. 65.

<sup>40</sup> См.: Скиф (10. Г. Жуковский). Новый Вавилон / Современник. 1863. № 4. Отд. II. В «Петербургском листке» за 1913 г. публикуется роман О. М. Бедуртовой «Наш Вавилон». См. также переводной роман А. Мейснера «Вавилонское столпотворение» (Дело. 1871. ЛФ 1-5). Новым Вавилоном оказался Ф. М. Достоевскому Хрустальный дворец Дж. Понстона, сооруженный для Лондонской Всемирной выставки 1851 года (комм. см.: Ямтольский М. Б. Мифология стекла в европейской культуре // Советское искусствознание. М., 1988. Вып. 24. С. 314-347). Вавилонская тема усиливается в этической мысли: см. Базаров В. А. Христиане Ветхого Завета и строители Вавилонской башни // Литературный распад. СПб., 1909. Вып. 2.

<sup>42</sup> См., например: Иванов Евг. Всадник. Нечто о городе Петербурге // Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 27.

<sup>43</sup> Нелидова Л. Единственный случай // Вестник Европы 1882 № 4 С 481

«Санкт-Петербургский Вестник» печатает стихи Ф. Ф. Иванова «На разрушение Москвы», в которых о древней столице говорится: «Но тако гибли Вавилоны, Когда предвечные законы Погибель изрекли!» Подчеркнута роль Петербурга в решениях судьбы мира: «О! Севера предивный сын! <...> Ты мира участи стал ныне властелин!»<sup>37</sup>. Сцепления Вавилона с Москвой встречаются и позднее (например, у М. Ю. Лермонтова в «Панораме Москвы», 1833-1834), но со временем многоязычный и суеливый Петербург все более прочно связывается с судьбой наказанного за великую гордыню и рассеянного по всей земле грешного библейского города (Быт. 11, 1-9). «Роскошным Вавилоном» называл Петербург А. А. Бестужев-Марлинский («Подражание первой сатире Буало», 1819); для Н. П. Огарева Петербург – это «Новый Вавилон», («Забвтье», 1862). В публикуемой статье А. И. Герцена читатель встретит реплику: «Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон». Суждение Герцена перекликается с образом социального равнодушия, развернутым в петербургском тексте Е. Л. Милькеева «Вавилон» (1842). В романе Д. Л. Мордовцева «Идеалисты и реалисты» (1867) автор рассуждает: «Что-то выйдет, – думают русские люди, из этого нового Вавилона?.. Не запустеет ли он со смертью царя, как запустел старый Вавилон?»<sup>38</sup>. В журнале «Дело» Мордовцев возражал москвофильствующим провинциалам, полагавшим, что в Москве «тишь да гладь в сравнении с якобы вавилонским значением Петербурга»<sup>39</sup>. Вавилонская тематика прочно укрепляется в русской культуре<sup>40</sup>, в связи с ней развертывается художественная социология мирового города, воспроизводится древняя мифология города-блудницы; все более отчетливо Петербург вращается в старинные контексты Падшего Града<sup>42</sup>. Естественным вариантом «вавилонской» трактовки Петербурга как мировой столицы стала специфично петербургская апокалиптика. «Цивилизация», – записал Достоевский на принадлежавшем ему издании «Откровения Иоанна Богослова». Город-цивилизатор в ожидании Страшного Суда – таков, в частности, Петербург Достоевского и таков он в «Моем Апокалипсисе» (1825) Н. М. Языкова. Вспомним картины разрушения древней столицы в мистерии В. С. Печерина «Торжество Смерти» (1833), которые автор назвал «языческим Апокалипсисом». Не слишком много времени пройдет, и «Град Обреченный» суммирует в себе символы Страшного Суда и конца Света, Четвертого Рима и Вавилона; более того, эта трагическая семантика станет достоянием и низовой литературы конца XIX века. Так, в очерке Л. Нелидовой скажут: «Да что вы все Петербург, Петербург! Четвертый Рим! Но где, скажите вы мне на милость, в каком Вавилоне...?»<sup>43</sup>.

## Западники, славянофилы, консерваторы

Сам факт рождения Петербурга был для Москвы началом нового этапа самоосознавания, а растущая во времени ментальная диалоговая панорама двух столиц подготовила качественно новое национальное самосознание, внеся в него новый режим философско-исторической

рефлексии, особую остроту интеллектуального напряжения. Духовная напряженность – центральное качество эпохи диалога старомосковской и русско-европейской традиций. Ею, этой напряженностью, определяется теперь климат отечественного журнализма, нравственный пафос полемики, скажем, «Москвитянина» и «Современника». Принадлежность литератора, публициста, ученого к той или другой столице становится социальным знаком, его характеризуется идеологическая направленность его творчества и даже тип патриотизма. «Московское» и «петербургское» применительно к этой эпохе предстают как разновидности пафоса (политического, исторического и эстетического), хотя временами его носителям кажется, что москвичам и петербуржцам нечего делить в своем отечестве. Так, в частности, думали В. Г. Белинский и А. И. Герцен, при том, что принадлежащие им «сравнительные жизнеописания» столиц весьма много значили для дальнейшего расширения полемики. Нетрудно привести примеры попыток нейтрализовать остроту столичных прений. Так, «Московский наблюдатель» в мартовской книге 1836 года опубликовал статью В. П. Андросова «Москва и Петербург в литературных отношениях», в которой автор, подписавшийся «Наблюдатель», вполне резонно говорит: «Московские журналы враждовали и враждуют так же между собою, как и петербургские. Вспомним отношения «Вестника Европы» и «Московского вестника» к «Московскому телеграфу», сего последнего к «Телескопу», который и теперь не совсем благоволит к «Московскому наблюдателю». <...> Вспомним вражду «Литературной газеты» с «Северной пчелой»; в глазах наших «Литературные прибавления» воюют неутомимо с «Библиотекой для чтения» и выражают свою приязнь к «Московскому наблюдателю». Наконец, не сейчас ли вспыхнула среди Петербурга жестокая брань между «Сыном Отечества» и «Библиотекой для чтения»? Явно, что и здесь вражды между Москвой и Петербургом не существует <...> Итак, нет у нас ни московской, ни петербургской литературы, но есть одна литература русская...». Попытка примирить эстетические, в частности, притязания на первенство – это выступление М. П. Заблоцкого-Десятковского в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1847. № 383). За подписью «М.» он напечатал статью «Художественный дилетантизм Петербурга», где призывал Москву не завидовать Петербургу в «богатстве эстетических наслаждений», не пересчитывать европейских знаменитостей оперной сцены, посетивших Невскую столицу, а заниматься общим делом – воспитанием у публики вкуса, а вместе и гражданственности.

Подлинная Россия, по выводам крайнего славянофильства, – это Россия за вычетом Петербурга. Поэтому сравнение столиц идет не в формах контраста и аналогии, а в форме взаимоотрицания. Петербург – это остров импортированной культуры, принципиально «чужая» земля, его образ жизни – тот же, что и в Москве, только наоборот. В частности, интересна позиция «Маяка». Не выявляя новых аспектов темы, она доводит расхождение мнения об облике столиц до той отчетливости,

после которой прибавить уже нечего. Такого рода завершенностью тезисов интересен для нас П. Сумароков: «В стране северной устраивают в домах, вопреки климату, как бы в Неаполе, Риме итальянские окна и зябнут от стужи и болеют от простуды... <...> Две столицы наши столь же непохожи между собою, как Лондон с Парижем: все в них, даже природа, различно. В Москве древние храмы, терема царские, прелестные окрестности, родовая оседлость наша. Здесь все с иголочки, с чужеземного образца, вокруг мхи, болота. Там простота, радушие, здесь уточненность, чиновность»<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Сумароков П. И. Старый и новый быт/Маяк. Ч. XVI. 1841. Проза. С. 237-238, 254.

Не менее определенно, хоть и с иных позиций, смысл петербургского стиля жизни как преимущественно теоретического и московского как преимущественно «сущностного» выразил издатель «Московского телеграфа». В цикле «Писем из Санкт-Петербурга к Д. И. Е.» Н. А. Полевой публикует свои рассуждения об устройстве «Выставки российских изделий»: «Если польза петербургской была более теоретической; а польза московской более практическая, то в сущности <...> тоже разница. В Петербурге явилось более великолепия, блеска, в Москве более сущности, чем прочности»<sup>45</sup>.

Москва есть город «сущностный» – вот кратчайшая формула Москвы, в которой так нуждалось славянофильство, и вывел ее не славянофил, а московский «якобинец». Сам представитель «третьего сословия», он и в журнале своем утверждал Москву как центр фабричного и торгового энтузиазма. «Литератор-купец» и историк на шеллингианском жаргоне своего круга (а в него входили П. А. Вяземский и В. Ф. Одоевский, С. А. Соболевский и Е. А. Баратынский) утверждал в сознании современников образ Москвы как единственного на сегодняшний день центра отечественного промышленного и духовного ренессанса. Надо сказать, что Н. А. Полевой в большей мере прав: питомцы Московского университета, любомудры, кружок С. Г. Раича, – все эти люди в известной степени компенсировали последекабрьскую пустоту Петербурга и составили предмет особых забот Третьего Отделения Тайной Его Императорского Величества Канцелярии<sup>46</sup>. Н. А. Полевой входил в круг московских либералов вплоть до закрытия журнала в 1834 году и отъезда в Петербург в 1836 г. Н. А. Полевой был из тех людей, чья жизнь трагически разломилась на две части, так что граница разлома совпала с диалогической осью столиц. С конца 30-х годов петербургская журналистика переживает новое рождение, но бывший издатель московского прогрессивного журнала, войдя в орбиту Н. И. Греча и Ф. Б. Булгарина, обнаружил себя в контексте далеко не лучших традиций отечественной публицистики. Поэтому, быть может, с особенной горечью звучат его слова, обращенные к В. Г. Белинскому в письме от 22 декабря 1837 года, когда его корреспондент, в свою очередь, готовился перебраться в город на Неве: «Мне, право, думается, что здесь вместо сердец Бог вложил в тело каждого карман. В Москве есть еще какой-то бескорыстный идиотизм, но здесь ум звенит расчетом и расчет заменяет ум»<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Московский телеграф. 1831. Ч. XXXVIII. № 6. С. 270.

<sup>46</sup> См. Орлов В. Пути и судьбы. Л., 1971. С. 315-316.

<sup>47</sup> Полевой Николай. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 528.

Оппозиционная Москва начала 30-х годов не раз предстает и в записях иностранных путешественников. Один из них, англичанин, капитан Кольвиль Фрэнкленд, 12/24 мая 1831 года записал в своем журнале после обеда у Пушкина: «Здесь в Москве существует вольность речи, мысли и действия, которой нет в Петербурге <...>. Факт тот, что Москва представляет род rendez-vous для всех отставных, недовольных и venoué чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппозиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те, политические взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства [властей]»<sup>48</sup>.

Московская оппозиция переживает своеобразный раскол на два столичных варианта, что с особенной наглядностью сказалось с отъездом в Петербург В. Г. Белинского (1837). Сочувственник московского западничества герценовского толка, Н. Х. Кетчер, в зимние наезды в Петербург 1844 и 1845 годов спорит с В. Г. Белинским, автором памфлета «Петербург и Москва» (1844, опублик. в 1845), о качествах столиц. П. В. Анненков, неутомимый наблюдатель этих прений, не придававший, впрочем, стычкам друзей особенного значения, оставил об этом прекрасный мемуар, для нас весьма драгоценный (хотя эти воспоминания и страдают известным упрощением ситуации). П. В. Анненков замечательно воссоздал аргументирующую роль самих слов «Москва» и «Петербург» в устах спорщиков: «Белинский, огорченный сделками партий в Москве, гремел против города, имеющего тлетворное влияние на самых здравомыслящих людей, а Кетчер исполнял теперь роль адвоката Москвы <...>. Обе столицы, Москва и Петербург, опять употреблены были в дело, как прежде в борьбе с чистыми славянофилами, – для обозначения духа и содержания новых отделов раздвоившейся партии западничества <...>». Петербургское «западничество» выражалось устами Белинского. «Между питерцем и москвичом, – говорил Белинский, подразумевая уже одних западников <...>, – никакой общности взглядов существовать не может: первый – сухой человек по натуре, а второй – елейный во всех своих словах и мыслях <...>». Кетчер от имени московских западников выражал совсем другое мнение. По его мнению, вся работа петербургского человека заключается в том, чтобы прослыть умным человеком <...>»<sup>49</sup>.

Славянофильские реплики в споре столиц также интонировались по-разному. В 1856 году К. С. Аксаков пишет для государя записку «Значение столицы» (от факта ее позднейших публикаций в 60-80-е годы мы пока отвлечемся). Петербург назван здесь «заграничной столицей России»; утверждается, что основание Петербурга имело следствием разрыв правительства с народом, в связи с чем К. С. Аксаков призывает царя вернуться в Москву – «народную столицу», покинув Петербург – «столицу правительственную», откуда Россией управлять можно лишь «заочно». Аксаковская позиция содержит серьезные историко-политические обвинения в адрес Петербурга:

<sup>48</sup> Казанский Б. Разговор с англичанином // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 313-314.

<sup>49</sup> Анненков П. В. Из «Замечательного десятилетия. 1838-1848» // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 446, 447.

«Ивану IV тяжело было жить в ней (Москве. – К. И.): он удалялся в Александровскую слободу, где перед ним не стояли живым упреком многолетние московские святыни и весь смысл русской столицы <...>. Когда Лжедмитрий завладел государством русских <...>, иезуиты <...> советовали самозванцу оставить Москву и основать новую столицу». С переносом столицы, полагает К. С. Аксаков, «совет иезуитов, наконец, исполнился». К. С. Аксаков был из того рода патриотов, которые полагали, что крайности безоглядного русофильства, как и надежды на форсированное цивилизаторство на западный манер, в равной мере губительны для России. Свое магистерское сочинение он начинал с рассуждения о Петровских преобразованиях, результаты которых заставили русских оглянуться на себя. Отечественный этнос, по мысли философа, стал постепенно осознать себя в семье европейских народов, но тем резче, на фоне развитых цивилизаций Запада, в русской «народности» проступили самобытные черты нации. Новая столица заставила Москву совершить акт самообнаружения в обновленном историческом пространстве, но самое качество такого рода рефлексии определялось как бы «от противного» – взаимоотрицанием столиц: «Столицей нашей стал город с чужим именем, на берегах чужих, не связанных с Россией никакими историческими воспоминаниями. Это время новой односторонности <...>»<sup>50</sup>. Вряд ли правильным будет счесть простой исторической наивностью это приравнение «нового» к «чужому», а «чужого» к «плохому». Речь у К. С. Аксакова идет о назревшей исторической ошибке. Ее непоправимость усматривается в «отмене» Москвы как земли исконного национального обетования. «Чужой» город на Неве воспринимается как угроза веками устоявшейся «народности». Философ и поэт, К. С. Аксаков не устает говорить об этом в своих обращениях к Москве: «Тебя постиг удел суровый, И мановением одним Воздвигся гордо город новый, Столица – с именем чужим»<sup>51</sup>. Специфический признак морального распада петербургского общества славянофилы видели, в частности, в такой новинке, как литературный гонорар. «Библиотека для чтения» и «Журнал Министерства народного просвещения», по свидетельству В. В. Григорьева, впервые превращают оплату публикаций в обычай, о чем еще в 1836 году с возмущением писал «Московский наблюдатель», рецензируя «Физиологию Петербурга, составленную из трудов русских литераторов» (Ч. 1. СПб., 1845). К. С. Аксаков считал нужным дополнить статью В. Г. Белинского о Москве и Петербурге комментарием «торгашеского духа» петербургской журналистики. Петербург предстает К. С. Аксакову центром литературной индустрии, основанной на слове, которое покупается и продается. Надо сказать, что в Петербурге не особенно смущались подобными упреками: авторский гонорар, как категория «словесной коммерции»<sup>52</sup> быстро входит в культурное сознание обеих столиц. Факты такого рода – не частные эпизоды спора у русских культурных центров: они свидетельствуют об ускоренной социализации культурных профессий и об утверждении их в общеевропейском статусе.

<sup>50</sup> Аксаков К. С. *Ломоносов в истории русской литературы и русского языка* // Аксаков К. С., Аксаков И. С. *Литературная критика*. М., 1981. С. 31.

<sup>51</sup> *Москва в истории и литературе...*. С. 338.

<sup>52</sup> См. статью С. П. Шевырева «Словесность и торговля» (*Московский наблюдатель*. 1835. Ч. 1. С. 5-29).

Раннее славянофильство создает особую историософию мировых столиц. Отечественная история осмысливается в категориях социального пространства, по-разному сконструированного.

Так, на заре славянофильского движения, в докладе А. С. Хомякова «О старом и новом», написанном для диспута на вечере у И. В. Киреевского в 1839 году, выстраивается ряд культурно-исторических противопоставлений: «Новгород/Москва», «Москва/Петербург». Для автора Москва теперешняя по отношению к Петербургу не повторяла судьбы Новгорода в его отношениях с Москвой (как это выглядело у некоторых позднейших историков русского города). Новгород и Москва, по мысли А. С. Хомякова, диалектически соотнесены взаимным смысловым подразумеванием, т. е. дополняют друг друга исторически и функционально. Новгород и Москва, полагал А. С. Хомяков, образуют противостояние «общины» и «власти»; Москва и Петербург соотнесены как «вещественная личность государства» и «сознание души народной». А. С. Хомякову дорога мысль о гармонически устроенном «теле» государства, «душа» которого онтологически однородна с «телом» и почвенно адекватна всем своим внешним репрезентациям. Россия – живой исторический организм, все моменты ее внутренней жизни сопряжены в том же целостном единстве, в каком разумно упорядочены и «внешние» формы ее. Отечественная история для русского философа обладает поэтому эстетической выразительностью и завершенностью. В контексте такой «эстетики истории» столицы могут быть описаны на общем для них языке, в терминах органической деятельности, органической онтологии и органической телеологии. О Москве можно, оказывается, говорить в «терминах» Петербурга, о Петербурге – в «терминах» Москвы, ибо историческая мысль А. С. Хомякова застает их не в состоянии поединка, а в глубочайшей субстанционально-органической корреляции, преемственности и диалога. О Москве говорится: «Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определительного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно, она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живую, органическою <...>. От этого-то так рано в этом молодом городке <...> родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и оттого народ мог сочувствовать с князьями». Когда А. С. Хомяков переходит к историческому генезису Петербурга, получается так, что Москва оказывается «внутренней формой» необратимо новой петербургской России: «С Петром начинается новая эпоха, Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд [ей]. Она из Москвы выдвигается за границу, на морской берег <...>. Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственно городом правительственным». А. С. Хомяков мыслит в терминах-образах весьма специфичного органического

историзма, важной чертой которого является восприятие картин прошлого как растущих во времени метаморфоз единой и неделимой в своей последней основе субстанции. Прошедшее не отменяет давнопрошедшего и древнейшего, но и не враждебно современности, эпохи не сменяют друг друга, а возрастают в пределах общей смысловой парадигмы. Смысл истории совершается в аспекте становления. Прошлое присутствует в настоящем в виде следа, в виде неустранимой каузальности, благодаря чему современность, становящаяся и определяющаяся в собственных смысловых контрастах, способна изменять и прошлое (но прошлое не событийно-фактическое, а смысловое). Эту замечательную по своей глубине мысль о смысловой релятивности прошлого<sup>53</sup>, А. С. Хомяков формулирует в публикуемой в этом сборнике «Речи о причинах учреждения Общества...» (1859). Рассуждая о судьбе Москвы в XVIII столетии и о перемещении государственной власти в Петербург, философ говорит: «Старина обратилась в воспоминания, прошлое прошло. Оно, кажется мне <...>, не прошло, но только видоизменилось»<sup>54</sup>. Таким «видоизмененным прошлым» и является теперь Москва, выступающая по отношению к «внешнему» Петербургу как «внутренняя», вернувшаяся в субстанциональную глубину национальной изначальности, смысловая праформа отечественной истории. Если в начале XIX века бытописатель Петербурга Павел Львов начинает фразу о Петербурге словами «Утро было еще глубоко; Петрополь еще покоился <...> а заканчивает – «<...> обширной московской державы»<sup>55</sup>, – то через три с лишним десятилетия не Петербург окажется в центре московского хронотопа, а Москва – в смысловом центре «овнешненного» Петербургом русского государства. У А. С. Хомякова не идет речь о создании некоей «москводицы»: для него Москва в той же мере не нуждается в оправдании, в какой Петербург не заслуживает осуждения. Столицы призваны А. С. Хомяковым к органическому слиянию репрезентируемых ими исторических начал: «души» и «тела», «народности» и «государственности», «совещательной соборности» и «рациональной власти», «внутреннего» и «внешнего», «вечного» и «исторического».

Урбанистический историзм А. С. Хомякова выходит далеко за рамки славянофильской философии межстоличного конфликта.

Тезисы К. С. Аксакова, как и доклад А. С. Хомякова, переживают второе рождение. Текст «Старого и нового» был опубликован в 1861 году, а статья «Значение столицы» появилась в первых двух номерах «Руси» за 1882 год. Русская публицистика отреагировала на аксаковский памфлет весьма оперативно. Это лишний раз свидетельствует о том, что вопрос о столичном приоритете отнюдь не исчерпывается славянофильско-западническим его интонированием. Приведем только один пример, чтобы читатель мог ощутить, как через полувековую почти дистанцию во времени голос одного из основоположников славянофильского учения вплетается в перепалки спорщиков совсем иной эпохи, которая пережила уже и такую филиацию славянофильства, как «почвенничество», и знакома с иными, еще более

<sup>53</sup> См. современное углубление этой

мысль: Лотман Ю. М. *О каузальных связях в семиотическом ряду // Семиотика культуры*. Архангельск, 1988. С. 6-10.

<sup>54</sup> Хомяков А. С. *О старом и новом*. М., 1988. С. 52, 53, 321.

<sup>55</sup> Львов Павел. *Путешествие от Петербурга до Белозерска // Северный вестник*. 1804. Ч. IV. С. 186. См. здесь же сравнения Петербурга с Римом и Вавилоном. С. 187, 196.



далекими от «первоисточника» вариантами, вроде толстовства, неоконсерватизма К. Н. Леонтьева, неославянофильства Вл. Соловьева и т. д. Мы имеем в виду «Петербургские письма» В. М. Гаршина, напечатанные в июне-июле 1882 года в харьковской газете «Южный Край» (изд. А. А. Юзефович, ред. А. Н. Стоянов). Обратим внимание на такое суждение В. М. Гаршина: «Пусть Петербург далек от России (все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли), пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге».

Во фразе о «московских звонарях», Гаршин, скорее всего, имеет в виду состоявшийся в первой половине 1882 года диалог газеты «Русь» и «Вестника Европы». Сразу после публикации аксаковской статьи «Русь» познакомила читателя с полным текстом речи Б. Н. Чичерина (в пятом и седьмом номерах). Новый московский голова объявил себя «приверженцем охранительных начал» и рассуждал о Москве как центре русской провинции. Это – сравнительно новое – амплуа Москвы окончательно утвердится к 80-м годам XIX века. «Вестник Европы» отреагировал на речь Б. Н. Чичерина в мартовской книжке: «О московских взглядах на русскую историю можно говорить разве в том смысле, в каком недружественные к нам иностранцы называют нас москвитями, в смысле возвращения к преданиям и обычаям допетровской Москвы <...>. Умственная жизнь Москвы в ближайшем прошедшем и в настоящем столь же далека от внутреннего единства 7...>, как и умственная жизнь Петербурга»<sup>56</sup>. В ответе на статью К. С. Аксакова «Вестник Европы» в апрельском выпуске отстаивает историческую органичность Петербурга: «Чем бы ни были берега Невы при Петре, несмотря на свое нерусское имя, Петербург – русский город, соединивший в себе все разновидности русского общества <...>»<sup>57</sup>. Реакция «Руси» не заставила себя ждать. В передовой от 1 марта (№ 11) газета, в полном соответствии с истиной, называет Петербург не просто городом, но «символом», обвиняя попутно «новойший либерализм» в отрицании «народности и самобытности». Замечательно, что традиционные упреки, адресованные «Русью» Петербургу (нерусскость, бюрократизм и т. п.), как и ответные реплики «Вестника Европы» («бюрократическое начало занесено в Петербург из Москвы <...>. XVIII век был веком бюрократизма не в одной России»), были почти буквально воспроизведены ровно через 35 лет, когда решался вопрос: где – в Москве или Петрограде? – быть Учредительному собранию. Князь Е. Н. Трубецкой находит, что «в Москве, так как Москва – это русский народный центр, а Петербург – сравнительно иностранный город, старый бюрократический и императорский центр». На это цитирующий Е. Н. Трубецкого анонимный автор заметки в газете «Современное слово» возражает: «Да, Петербург был бюрократическим и императорским центром. Но потому-то он глубже и раньше додумался до высших политических идей европейской демократии, чем остальная Россия. Москва почвеннее, стихийнее, историчнее Петербурга»<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> *Вестник Европы*. 1882. № 3. С. 452.

<sup>57</sup> *Там же*. № 4. С. 878.

<sup>58</sup> П. Б. Петроград и Москва // *Современное слово*. 1917. 19 марта. № 3286.

Эпохи 30-40-х годов и годов 80-х XIX века в отношении их к идеологическому статусу столиц в определенном смысле рифмуются. Весьма примечательна в этом отношении позиция К. Н. Леонтьева, личность которого С. Н. Трубецкой определил в названии статьи о нем: «Разочарованный славянофил» (1892). В основном труде К. Н. Леонтьева «Византизм и Славянство» (1875) обаяние Москвы в глазах соотечественников и иностранцев поясняется ее более, чем у Петербурга, «византийским» обликом.

Идея «Москвы – Третьего Рима», в новых политических контекстах воссоздаваемая в 1870-1880 годы в неоконсервативных кругах (которым оказывается близкой публицистика таких разных людей, как Ф. И. Тютчев и Ф. М. Достоевский), вновь отодвигает для русской интеллигенции Петербург на дистанцию, с которой он видится враждебной землей, населенной людьми, не отвечающими панславистским амбициям. Слово «чужой» вновь оказывается главной оценочной маркировкой Петербурга. Для К. Н. Леонтьева Петербург, в худшем случае, – это анти-Рим, а в лучшем – гигантская мировая компиляция, причем вторичного происхождения, поскольку для автора «Византизма и Славянства» мировые столицы Западной Европы – тоже компиляции, возникшие на развалинах греко-римской цивилизации. Казарменно-лагерный, холодный и сырой Петербург на фоне «пестрой», златоглавой Москвы вызывает у К. Н. Леонтьева чувство эстетического отвращения. Но не будем забывать и того, что для амбивалентного (чтобы не сказать – «бодлианского») эстетизма К. Н. Леонтьева Петербург мог обладать и особого рода негативной притягательностью.

Философия истории К. Н. Леонтьева, как известно, учила об осуществлении онтологической триады внутри всякого процесса, в том числе и исторического: «первичной простоты», «цветущей сложности» и «вторичного упрощения». Москва, по К. Н. Леонтьеву, переживает сейчас вторую стадию, а Петербург – третью. Поэтому, когда философ смотрит на Петербург «из» московской ойкумены, столица Империи предстает его внутреннему видению рассыпанной на некогда похищенные у Европы составные элементы, компилянтном которых он является поныне: «При виде нашей гвардии (*La garde*), обмундированной и марширующей (*marschiren*) по Марсову полю (*Champ de Mars*) в Санктпетербурге, не подумаешь сейчас о Византийских легионах»<sup>59</sup>.

К. Леонтьев ни на секунду не забывал, что исторически Москва – столица сначала церковная<sup>60</sup>, а уж потом политическая и административная. Поэтому, вполне отдавая себе отчет в том, что история России – это в огромной мере история ее столиц, К. Н. Леонтьев болезненно переживал сам факт разрыва конфессионально-эстетической и имперской идеи на некие противоположные географические автономии Москвы и Петербурга. Нигилизм философа по отношению к столице на Неве – чисто «пространственный». Новая столица, по его убеждению, разрушила единственную историческую опору, на которой строилось будущее русского государства – единство Веры, Власти и Красоты.

<sup>59</sup> Леонтьев К. Н. Византизм и Славянство // Восток, Россия и Славянство. Сборник статей: В 2 т. М., 1885. Т. 1. С. 84.

<sup>60</sup> О Москве как церковной столице см.: Москва и ее жизнь / Сост. Роман Кузов. СПб., 1914. 311 с.; «Город чудный, город древний...» Москва в русской поэзии XVII – нач. XXв. М., 1985.

Ярче всех созданных К. Н. Леонтьевым трактатов его отношение к Петербургу характеризует один бытовой эпизод, рассказанный учеником философа и тоже философом – В. В. Розановым: «Раз он ехал по Москве на извозчике. «Куда едешь», – спросил возницу полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. «Что вы, барин?» – спросил тот политического Торквемаду. – “Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен <...> губернатором, а губернатор – царем. Ты мужик и дурак – и восстанешь, как петербургский адвокат, против своего отечества”»<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Розанов В. В. Неузнанный феномен // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 183.

Монархическая идея, по К. Леонтьеву, мельчая в бюрократической иерархии чиновников, дискредитируется в ней. Это не может не раздражать и тех, кто не похож на консерваторов типа К. Н. Леонтьева. Как на пример, сошлемся хотя бы на человека совсем иного типа поведения и образа мыслей – князя П. В. Долгорукова, знаменитого эмигранта, разоблачителя тайн двора и сановной верхушки, великого гордеца, честолюбца, обойденного карьерой, одного из помощников А. И. Герцена в трудах по публикации нелегальных сведений. Вот как автор блестящих памфлетов говорит о Петербурге: «В этом болоте, истинном болоте, физическом и нравственном, представляют <...> зрелище, какого не встретишь ни в одной стране мира: смесь монгольской дикости с византийской подлостью <...>»<sup>62</sup>.

<sup>62</sup> Долгоруков П. В. Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта. 1860- 1867 / Собр. и пригот. к печ. П. Е. Щеголев. М., 1934. С. 126-127.

Реплика кн. П. В. Долгорукова, помимо прочего, встает в длинный ряд суждений русских публицистов об отношениях метрополии к провинции. Новая вспышка интереса к этой проблеме была спровоцирована, в частности, выходом в Казани сборника «Первый шаг» (1876). Автор огромного трактата обрушивается на так называемую теорию «больших городов». В соответствии с ней, судьба всякой провинции – быть поглощенной центром. Адресат персональной критики – Д. Л. Мордовцев, который, развивая эту концепцию, сам же, впрочем, ее опровергал. Авторы «Первого шага» полагают свой культурный оазис как бы московской диаспорой, так что спор Казани с Петербургом переводится на обычные маршруты межстоличного диалога. Между тем, Д. Л. Мордовцев, менее всего склонный к противопоставлению столицы и периферии, высказывал интересные мысли: «И полу сказочный Вавилон, с его всеячими садами, и такая же сказочная Ниневия, с ее поразительной роскошью, и поэтическая Пальмира, и изящные Афины с чудесами классического искусства и поэзии, и страшный Рим с его железными легионами и безумным развратом, – все эти города-чудовища тоже питались соками провинций, и когда эти соки иссякли, иссякла и жизнь самих чудовищ <...>. И в 1612, и в 1812 годах Москва, считавшаяся сердцем России, значит, более еще, чем простым центром, была <...> насмерть поражена, но Россия продолжала жить, несмотря на поражение центра. То же было и с Францией, когда Париж поразили немцы»<sup>63</sup>.

<sup>63</sup> Мордовцев Д. Л. Печать в провинции Дело. 1875. № 9. Отд. XIV. С. 52-53.

<sup>64</sup> С. О. Б. Поездка в Петербург. Повесть // *Маяк\** 1841. Ч. XXIV. С. 27-125. Ср.: *Завесский Ан. Поездка в Петербург 1901 года. СПб., 1904.* 29 с.

<sup>65</sup> В 40-е годы А. И. Крюкбергер печатает в «Современнике» «Перитику между петербургцем и провинциалом» Владимира Чулково. См также: Адаев М. В. Письма «пустого человека» в провинцию о петербургской жизни // *Современник. 1852. № 12. С. 257-267.*

<sup>66</sup> «Москва – сердце, а мысль, только выйдя из сердца, становится плодотворнее, – говорит анонимный автор в «Телескопе» – Золотые мечты! Назовите этой болтовней московской, но не всякий променяет их на расчетливость ума, на его ледяную, граничную бесчувственность!» (Телескоп. 1836. Ч. 22. С. 159). К концу 50-х гг. демократическая критика воспринимает выражение «Москва – сердце России» как затертый поэтизм (см., например, рецензию Н. А. Добролюбова на «Московские эскизы» М. Дмитриева). «Сердцем России в полном, высоком значении этих слов» называет

столитую И. И. Панаев: М. Н. Заоскин скажет, что в государственном теле России «Петербург служит главою, а Москва сердцем»; А. И. Герцен отметит, что «у Петербурга нет сердечной связи со страной», а Н. А. Мельгунов добавит, что «Петербург, взяв у Москвы голову, оставил ей сердце».

<sup>67</sup> «Зачем мы все съезжаемся в Петербург?» – вопрошал Ф. Б. Булгарин в «Северной пчеле» (1854. №219). А Пальм в одной из «петербургских новостей» говорит: «Всякий норовит в Петербурге <...>, думают, что Петербург – золотое дно» (Московский городской листок. 1847. № 117. С. 466). Герой позднейшего очерка замечает: «Как всем известно, Нева у нас течет молоком, а берега у ней кисельные, дождь у нас капает пятишатырными, а град – рублями серебра» (Куцковский И. В Петербурге! (На медовую речку Неву!) // *Маленькие рассказы*

В разработке темы «провинциал в столице» разграничились три линии. Одна из них восходит к лубочной традиции (отмеченные Д. Л. Мордовцевым народные книжки: «Фомушка в Питере», «Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве»). В ней то имитируется, то комично переосмысливается мотив паломничества к святым местам. Вторая разрабатывается в жанре «путешествий» и развивается на уровне массовой журналистики<sup>64</sup>. Третья закрепилась в сатирической публицистике, как низовой<sup>65</sup>, так и высокой (Гончаров А. И. Письма столичного друга к провинциальному жениху, 1848; Салтыков-Щедрин М. Е. Дневник провинциала в Петербурге, 1872), а также в традиции физиологического очерка и фельетона (Некрасов Н. А. Дружеская переписка Москвы с Петербургом, 1860).

Расширяясь и захватывая в свое дискуссионное пространство новые голоса, спор «Москва/Петербург» время от времени оглядывается на свой диалогический опыт и пытается осмыслить если не итоги, то хотя бы некоторые поучительные для себя ретроспективы.

Опубликованные летом 1882 года, очерки В. М. Гаршина завершают судьбу жанра, созданного в диалоге Москвы и Петербурга – «петербургского письма».

Гаршин не повторяет и не опровергает обычных стереотипов «москвологии», вроде «Москва – сердце России»<sup>66</sup>, так и Петербург не связывается, скажем, с традиционной темой «эльдorado»<sup>67</sup>. Отношение Гаршина к Петербургу определено словосочетанием «духовная родина». Писатель живет внутренним родством с тревожной атмосферой Невской столицы. Он пишет Е. С. Гаршиной 16 декабря 1877 года: «Петербургский, родной мне воздух <...> так действует, только я чувствую себя совсем здоровым». Мемуаристы заботливо отметили, что Гаршин – писатель по преимуществу петербургский (см., например, статью Г. И. Успенского «Смерть Гаршина», 1888), а В. Фаусек указал на родство пушкинского понимания Петербурга с его образом у Гаршина.

Гаршин выводит, как он говорит, «старый, заношенный еще в 50-х годах», тип дачника-петербуржца, посетителя обедов, жуира, дамского угодника. Тип «комильфо» (см. анализ «комильфотного» сознания и психологии в трилогии Л. Н. Толстого) в своем «дачном» варианте обозначен отечественной характерологией как «добрый человек» (Достоевский Ф. М. Петербургская летопись), «коломенский джентльмен», «прекрасный молодой человек» (Панаев И. И. Прекрасный молодой человек, 1840; Баженов Н. Прекрасный молодой человек, 1848; Успенский Г. И. Прекрасный молодой человек, 1867). «Дачная тема», как специфично петербургская (специфично московская – усадебная) активно освоена массовой беллетристичной, водевильной и очерковой социологией обеих столиц. Гаршинский дачник носит имя Ивана Ивановича («дачник вообще») и едва ли не связан с повестью Е. Гребенки «Иван Иванович» (1844) с ее темой «доброго человека». Типаж Гаршина включает в себя и черты «плута-чиновника», хорошо

представленного русским водевилем и фельетонной традицией (см., например, «Гражданин Невского проспекта» (1867) Д. Минаева). Следует отметить, что многие тексты, отразившие в свое время и петербургского «сентиментального путешественника», и петербургского Вертера<sup>68</sup>, воспринимаются теперь как самопародии. Подобным образом идеологические тексты, содержащие сравнительные характеристики столиц, открываются современному читателю в разной глубине социологической серьезности<sup>69</sup>.

Понадобилось менее полу столетия, чтобы «петербургское письмо» от В. Ф. Одоевского до Г. И. Успенского («Петербургские письма», 1871) и В. М. Гаршина превратилось в особый, отражающий диалог столиц жанр художественной сравнительной урбанистики.

Бицентризм не является исключительным свойством отечественной истории. Это, скорее, норма, в которой отражена диалогическая природа всякого подлинно культурного исторического пространства. Как «Мюнхен/Берлин» для Г. Гейне или «Любек» для Т. Манна («Любек как форма духовной жизни», 1926), как «Париж/провинция» для А. Дюма, Стендаля, Бальзака или Ф. Саган<sup>70</sup>, так и «Москва/Петербург» для бесчисленного множества русских авторов оказались кардинальной жизненной осью: типом мировоззрения, формой культуры, мировоззренческим итогом выбора, стилем поведения, религиозной и этноязыковой доминантой.

Уже для П. А. Вяземского («Сравнение Петербурга с Москвой», 1811)<sup>71</sup> и А. С. Пушкина («Путешествие из Москвы в Петербург», 1833-1835), как, впрочем, и для П. В. Анненкова («Замечательное десятилетие. 1838-1848»), прения сторон, заполняющие страницы периодических изданий, казались надуманной, исчерпывающей себя темой (хотя история журнализма показала, что самые яркие «сравнительные жизнеописания» столиц – еще впереди).

Дело, видимо, состояло не в поверхностной тяжбе о столичных преимуществах и даже не в том очевидном факте, что на фоне Петербурга – нового мирового европейского Города – Москву приходилось называть тем, чем она и была субстанционально: староазиатской мировой Деревней (во всяком случае, когда Б. Н. Чичерин в своей речи по поводу избрания его городским головой говорил о Москве как центре русской провинции, он был глубоко убежден, что этот комплимент «порфиноносной вдове» будет понят правильно).

Перед тем, как заново развернуться в XX веке, диалог столиц прошел несколько витков своего развития в XVIII-XIX столетиях.

«Языки» Москвы и Петербурга стали средством идеологической, литературной и художественной полемики. Патриотизм славянофилов (а позже – публицистика консерваторов и неонародников) окрасилась в специфично московские интонации, западники предпочли связывать будущее России с европейской, т. е. петербургской перспективой. Москва стала живым музеем отечественной памяти и психологической

## **Начало последнего века. Припоминание пути и апокалипсис надежды**

*Очерки, картины и легкие наброски. СПб., 1875. С. 71). Мотив «Петербург-эльдorado» см. в «Петербургской стороне» И. П. Гребенки (1844), «Житейских сценах» А. Н. Плещеева (1857). Встречаются и сцепления этой темы с Москвой, причем, как и в «петербургском варианте», этот мотив развивается часто внутри темы «провинциал в столице». В анонимной очерке «Помещик в Москве» встречаем: До них доходят слухи о житее Петербургском: им чудеса рассказывают о чужих краях знакомые, побывавшие за границей; но эти рассказы их мало трогают, как нечто для них недоступное <...>. Ах эльдorado – Москва <...>, потому что в Москву можно приехать на своих лошадей, привезти деревенскую провизию, взять иною прислугу, жить в раздольи» (Московский городской листок. 1847. № 129. С. 516).*

*Чувствительное путешествие по Невскому проспекту. М., 1828. 87 с.; (X) Справдания санкт-петербургского Вертера // Современник. 1847. № 3. Т. 51. Отд. VIII. С. 57-64.*

<sup>69</sup> С.м.: Герсеванов Н. Б. *Петербург и Москва // Сын Отечества. 1839. Т. IX. С. 5-15; Вигель Ф. Ф. Письмо к приятелю в Симбирск // Сушков Н. В. Московский Университетский Благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его. Приложение. М., 1858. С. 8-21; Прыжов И. Г. *Петербург и Москва. СПб., 1861. 16с.; Петербург: из моего окна. Путевые записки москвича. Август 1852 г. Соч. Ивана Анциферова. М., 1853. 59 с.**

<sup>70</sup> С.м.: Тюпа М. Г. *Париж и провинция в романе Ф. Сазан «Немного солнца в холодной воде» // Литерат. произведение как целое и проблемы его анализа. Кемерово, 1979. С. 132-142. См. репрезентативные в этом смысле сборники: Париж изменчивый и вечный. Л., 1990; Жилые славных муз. Париж в литературных произведениях III-XXвв. М., 1989.*

<sup>71</sup> В пародийной грамоте «Из того света» (1815), которую Вяземский написал на балу у своей тещи П. Ю. Кологривовой, он выразился следующим образом: «Дай Бог чести в красоте и славе Петрограду! (Воля ваша, мы здесь старые русаки, не можем приучиться русский город называть немцам именем). Но дай Бог здоровья и матушке Москве». В первой записной книжке читаем: «Общее и различие между Москвой и Петербургом в следующем: здесь уменьшает глупость, там ум вынужден иногда дурачиться – под стать другим» (Вяземский П. А. *Записные книжки. М., 1963. С. 11, 24*

мотивацией эстетического пассаизма, а Петербург – тревожащим душу источником грозных перемен. В Москву ездили за покоем и душевным комфортом, за отдыхом, а в Петербург – делать дела (эти роли порой менялись). Дерево Москвы и камень Петербурга на какое-то время стали полярными архитектурными символами русского зодчества.

Древнейшая репутация города как памятника цивилизаторского энтузиазма восходит к образам города-блудницы, к мифам о богоборческом созидаании Вавилона, о греховном опыте первоначального общежития. В архаических текстах град земной выглядит неудачной проекцией горних обителей, так что гибельная его судьба известным образом предreshена. Божьим произволением может воздвигнуться город на святом месте, и тогда жители его могут быть спокойны до тех пор, пока почвенная сила благодати ограждает их от зол. Божьим же попусшением возрастает и град мерзости, до времени допущенный к житию.

Репутация Беззаконного Града накапливалась постепенно и ближайшим генетическим образом связана с восприятием Петра I как Антихриста. Беспрецедентная реформация социального уклада, крушение традиционных картин мира и мира религиозных ценностей, резко изменившееся качество исторического времени (оно катастрофически убыстрилось), – эти следствия дела Петрова вполне естественно активизировали архаический стереотип «подменного» царя, государя-самозванца. Мифология самозванства, которой раскольники отреагировали на новости Петра Великого, целиком вошла в ценностный мир новой столицы, отмеченной сатанински чуждым обликом. Герой романа Д. Мережковского «Христос и Антихрист (Петр и Алексей)» (1904) – Тихон, ищущий истины у старообрядцев, узнает в лице Петра демонический облик Петрова Града: «Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город: на обоих была одна печать»<sup>72</sup>.

Чем чаще напоминали москвичи о Москве-Третьем Риме, тем больший ужас внушала дьявольской помощью из ничего возникшая новая столица, грозившая обернуться Римом Четвертым.

На рубеже XIX-XX вв. проблема города, городской среды, городского поведения ставится на широком фоне философских вопросов внутри уже сложившихся триад «культура-цивилизация-природа», «история-природа-город», «космос-цивилизация-человек» и других этого ряда. Авангардистские поиски в области новых языков выражения в искусстве коснулись прежде всего градостроительства. Архитектура на некоторое время становится одним из «самых массовых из искусств». Кубизм и конструктивизм в поэзии и живописи, кино и музыке – производные от нее. Футуристические городские проекты поэта и философа В. Хлебникова, утопии М. А. Волошина встали в сознании современников в один ряд с проектами В. Е. Татлина и новаторскими композициями Л. де Корбюзье. Утопические варианты мегаполиса следуют один за другим; ничто не кажется неосуществимым.

<sup>72</sup> Мережковский Д. С. Города космические, подвесные, летающие, подземные, стеклянные, ажурные; города-растения и города-организмы. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. 379. Т. 2. С. 379.

Когда-то написать утопию означало предложить модель рационально-организованного и легко управляемого социума. Теперь утопия предлагает прежде всего новый тип города, жилища и новую свободу для городского человека. На другом полюсе резко возрастает критика капиталистического города, литература наводняет образы городов-молохов, городов-спрутов, городов-убийц. Мировоззренческая традиция типа «Urbi et orbi» («городу и миру», по названию одной из книг В. Я. Брюсова) в первую очередь торопится определить понятия Дома и Мира в векторе «домашности». Если «дом – это место, где жить нельзя» (М. И. Цветаева), то и весь мир – юдоль, а не обитель. Ни одна эпоха не знала такого обострения комплексов бездомности, заброшенности-в-бытии, как эпоха начала века и в период между двумя мировыми войнами.

Иов богооставленный на пепелище – таков горожанин в начале нашего столетия, в котором мировые столицы сделали все, чтобы человек достиг вершин одиночества в толпе людей, жилищ, реклам, авто, посреди многократно умножившегося мира вещей, в новом континууме безмерно усложнившихся коммуникаций<sup>73</sup>.

<sup>73</sup>См. *возврат гоголевской поэтики гротеска в описании кинематографического восприятия петербургского пространства в рассказе Б. Зайцева «Петербургская дама»* (Зайцев Б. *Земная печаль*. Л., 1990. С. 252).

Новые искусства диктуют новые принципы видения Невской столицы. Помимо опыта, внесенного в этот процесс кинематографом, мы увидим и участие в нем механизмов фотовосприятия: «Громадность петербургских проспектов, видимых всегда на плоскости и никогда сверху <...>, дает какую-то иллюзию не обычной, а умышленной фотографической перспективы. Безусловно, Петербург напоминает фотографию»<sup>74</sup>.

<sup>74</sup> Волошин Макс. *Стереоскоп // Новый журнал*. 1960. № 60. С. 234.

С другой стороны, плоско-фотографическое видение Невской столицы находит предшественников и в XIX веке (см., напр., письмо Н. Бестужева своей сестре, Елене Андреевне)<sup>75</sup>.

<sup>75</sup>Цит. по: Зильберштейн И. С. *Процание с родиной (Письма Николая и Михаила Бестужевых о Петербурге и Москве)* // *Известия ОЛЯ АН СССР*. 1975. Т. 34. № 6. С. 543, 544.

Обратим внимание на реставрацию XX веком восприятия европейских мировых столиц через контрастную рифму «Москва = Петербург». Как мы помним, в «Риме» Н. Гоголя антитеза «Рим/Париж» осмысливается как «Москва/Петербург»; как говорил Гоголь, только после Рима и чувствуешь себя в Москве, как дома. В свою очередь, «римские» коннотации Петербурга не менее традиционны и для классического периода диалога столиц, и позднее, Казанский собор, откровенно рифмующийся собором св. Петра в Риме, как и собор Василия Блаженного (Покровский) – эти архитектурные переключки, известные Гоголю, всплывают в светлое поле сознания свидетелей иной эпохи. В ранней статье «Лицо России» (1918) Г. П. Федотов говорит: «Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью всматриваемся в колонны Казанского собора, средневековая Италия делает понятной Москву»<sup>76</sup>.

<sup>76</sup>Федотов Г. П. *Лицо России*. Париж, 1967. С. 4.

В своем торжестве организованного пространства, замкнутого контура Петербург воспитал в петербуржцах особое отвращение к дому

– некогда надежному убежищу. Недоверие к домашнему уюту стало специфической чертой городской психологии Петербурга. Со времен Достоевского закрытое пространство стало осознаваться как метафизически-криминальное пространство: оно порождает жажду преступного нормотворчества (что и происходит с Раскольниковым). В тесном, огражденном от людей пространстве витает дух убийства, – при этом чувстве мы застаем героя рассказа А. Аверченко: «Только наш неожиданный, призрачный, причудливый Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная, сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, в которой как будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, серая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня – тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска»<sup>77</sup>.

<sup>77</sup> Аверченко А.  
Шутка мецената //  
Дружба народов. 1990. № 4.  
С. 111.

Новый виток диалога столиц в первые десятилетия сопровождается чрезвычайно активным ростом новой мифологии (ее новизна в той степени, в какой вообще миф пытается выглядеть новым и той особенной городской демонологии, о праве на существование которой говорил и замечательно утвердил своим художественным опытом знаменитый экономист и писатель А. В. Чайнов. «Совершенно несомненно, – говорил он, – что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его гофманиану, некоторое количество своих домашних дьяволов»<sup>78</sup>).

<sup>78</sup> Муравьев Вл.  
Творец московской гоф-  
манианы // Чайнов А.  
Венецианское зеркало.  
Повести. М., 1989. С. 19.

В XX в. Петербург вновь – Город гибели и обитель обреченных; пророчества о скорой гибели Невской столицы входят в моду, заполняют страницы ежедневной печати<sup>79</sup>. Осталось очень немного, чтобы вся действительность вокруг горожанина зазвучала голосами Апокалипсиса. В апрельском номере «Весов» за 1904 год А. Белый публикует статью «Апокалипсис в русской поэзии»; В. Розанов назвал свою книгу 1918 года «Апокалипсис нашего времени», а Б. Савинков свою – «Конь Бледный» (1909; есть у него и «Конь Вороной», 1923; ср.: Крученых А. Е. Апокалипсис в русской литературе. М., 1923). Фальконетов монумент – центральный символ Града Обреченного – слился в сознании носителей катастрофического мироощущения со Всадником из «Откровения».

<sup>79</sup> Рославлев А.  
Гибнущие ризы // Наши  
век. 1918. № 50; Зо-  
зуля Е. Гибель главного  
города // Вечерняя Звезда.  
1918.  
№ 5. Ср. : Рысс  
Петр. Петроград //  
Современное слово.  
1917. №3369 (29  
июля). С. 6; Богданович Т.  
Санкт-Петербургъ // Со-  
временное слово. 1918. №  
3507. С. 2; Ауслендер С.  
Хвала Петербургу // Новости  
дня. 1918.  
16 апреля. (17/4  
марта). С. 3.

В 1907 году Евг. Иванов публикует в альманахе «Белые ночи» символистские вариации на темы Апокалипсиса: «Всадник. Нечто о городе Петербурге». Здесь, помимо примелькавшегося сравнения с Вавилоном, характерен важный смысловой штрих столицы: ее регулярно-числовая образность. Градостроительная математика Петербурга, его геометрическая упорядоченность и линейность традиционно противостоят «кривому» пространству Москвы. В городе Петра торжествует в своем мироустроительном начале Число-Логос. Только обитатель Петербурга мог записать (пример Ю. М. Лотмана), как это сделал П. А. Вяземский, что он обедал у дамы седьмого класса на Четырнадцатой линии. Числовая эстетика Невской столицы, наложенная



на сословно-юридическую арифметику «Табели о рангах», заставляет нас лишний раз вспомнить о том, что Петербург – это осуществленная утопия. Характерной чертой утопий (от Платона до Хлебникова) является число как онтологический принцип изображенного в нем мира. Отсюда же обилие чисел и в антиутопиях (Е. И. Замятин, Дж. Оруэлл). Петербургские числа в эссе Евг. Иванова, в духе эпохи, усиливают те значения, какие черпаются из первоисточников, в частности, из замыкающего Библию «Откровения» Иоанна Богослова. Это числа Судьбы, числа мистические и вещие. Петербургским числом у автора «Всадника» оказывается «17», поскольку в 17-й главе Апокалипсиса говорится о сидящей на Звере блуднице; высота Медного Всадника – 17,5 футов; номер, в котором сидит Германн из «Пиковой Дамы» – 17-й. Евг. Иванов заставляет нас видеть в медном Петре двойника апокалиптического Всадника, а в Германне – вариант Голядкина-безумца из «Двойника» Ф. М. Достоевского. В результате этих приравнений число – традиционный символ совершенства и гармонии – обращается в свою противоположность, – в символ энтропийного (полуреального и полураспавшегося), на грани безумия живущего Города, вся архитектурная математика которого готова рухнуть в бездну небытия под копытами Коня Бледного.

В мартовском номере за 1918 год в «Вечерней Звезде» помещено философское эссе Эм. Германа «Петербург», где мы встречаем уже знакомое варьирование исторической вины Петербурга: «Петербург – город гордый, царственный. Недаром он порожден буйной гордыней царя-бунтаря. За эту гордыню – когда-то самодержавную, деспотическую – ненавидели его рыцари “смирненной Руси” – славянофилы». Газета Б. Муйжеля «Молва» печатает в эти годы «Петербургские очерки» С. Аратовского «Белые ночи и черные дни».

Примеров, вроде приведенных, достаточно много. Они образуют своего рода низовую, оперативную ментальность массовой культуры, которая живет рефлексамии высокой профессиональной культуры. Писатели охотно участвуют в поденной газетной урбанистике: А. В. Амфитеатров в 1891-1899 гг. вел рубрику «Москва. Типы и картинки» в «Новом времени», а Л. Андреев в 1897-1904 годах писал судебные репортажи для московского «Курьера» (см. тему Города в рассказах Л. Андреева «Стена», 1901 и «Город», 1902). Отметим, однако, что в состав «низовой» культуры начала XX века включаются и острова серьезного профессионализма. Это такие явления, как эстрадная песня (А. Вергинский), эстрадная поэзия (И. Северянин), искусство примитивистов, джаз и синема.

Подлинным генератором культуры становится бытовое поведение в артистической и художественной, музыкальной и литературной среде столицы: салон, кабаре, кулисы. Бытие культуры предваряется в культурном быте. Литература выдвигает вперед жанры, традиционно располагавшиеся на периферии: фельетон, пародию, притчу, романс. Но фельетон берет на себя жанровую серьезность мистерии; глубоко непростой

становится содержательность пародии; притча возвращается к своим дидактическим функциям; романс претендует на исповедь.

Публицистика первых десятилетий XX века активно разрушает образ Петербурга как логически упорядоченного космоса. Коль скоро его «целью» объявляется неминуемая гибель, то и историческое его существование теряет смысл. Он начинает восприниматься как псевдологический фантом, город-насмешка, как сатанинская ухмылка императора над здравым смыслом, как безумная попытка преодолеть стихию (природную, национальную, историческую) голым расчетом. На этом фоне усиливается «партия» Москвы: ее голос начинает звучать в тонах утешения и надежды. Город почвенного обетования и национальной жизнестойкости, в противовес беспочвенной и безосновной гордыне Северной Пальмиры, – такой предстает Москва в небольшой статье Б. М. Эйхенбаума, замечательного историка культуры и филолога. «У Петрограда и нет души – она исторически не потребовалась ему. Петроград пленителен именно своим бездушием – город ума, умысла, так легко поэтому принимающего вид каменного призрака. Он всегда напряженно и рассудочно мыслит... Москва не знает раздумья, не любит рассудком, живет полностью и разнообразием чувств. Москва – живописнее, тогда как Петроград – чертеж, контур, схема».

Петроградцы без Москвы – «не русские». Пусть Петроград не в ладах с Москвой – «ум с сердцем не в ладу». Это – трагедия России, которая становится особенно возвышенной в «эпохи больших потрясений». Надо сказать, что у Б. М. Эйхенбаума (в будущем – профессора Петербургского университета) были все основания для того, чтобы возвеличить Москву своей эпохи перед Петроградом: центр философской, художественно-артистической и писательской жизни ощутимо перемещается в древнюю столицу. Петроград не оскудевает людьми, но его культурная атмосфера сильно разрежается и обретает особого рода психологическую напряженность и полу истерическую взвинченность (что можно наблюдать в пряной куртуазности салонов полусвета, богемных кабачках и писательских кафе, литературно-музыкальных салонах, в бытовом мифотворчестве таких петербургских оазисов, как, например, «Башня» Вяч. Иванова)<sup>80</sup>. Поверим автору, когда он сравнивает «культуру подвалов» двух столиц. Если на берегах Невы царит атмосфера элитарной утонченности и сомнительного в своей экзальтации красноречия, то Москва находит формы ярмарочно-балаганной арлекинады, превратившей камерное пространство салона в угол городской площади. Припоминая о кафе Н. Ф. Балиева «Летучая мышь», Б. М. Эйхенбаум констатирует: «Напряженно-рассудочная жизнь столицы легче и интереснее приобретает формы гротеска. Здесь нет того ядовитого алкоголя, который знаком посетителю петроградских подвалов <...>». Завершается эссе в классических интонациях Пушкина, Гоголя и Тютчева: «Да, Россия без Москвы немислима. Да, в Москву, как и в Россию, можно, но и нужно верить. И Москве нужно только одно – чтобы ее любили. Петроград – стройный,

<sup>80</sup> О «Башне» Вяч.

Иванова см.: Белый А. Начало века. М., 1990. С. 353-361; Бердяев Н. А. «Ивановские среды» // Русская литература XX в. / Под ред. С. А. Венгеровой. М., 1916. Т. III. Кн. 8. С. 87-98; Кобака, Северюхин Д. Башня на Таврической (Биография дома) // Декоративное искусство, 1987. № 1. С. 35-39; см. также: Тименчик Р. Д. Русская поэзия нач. XX в. и Петербургские кабаре // Литерат. процесс и развитие русской культуры XVII-XX вв. Таллин, 1985. С. 36-38.

строгий. Он нужен России, он – деловой. Москва – наша роскошь, где душа богата непосредственным размахом национальных сил <...>». В первые десятилетия XX века мы присутствуем при реставрации старых контрастов столиц: О Москве говорят, как о разнородно-органическом существе, о Петербурге – как о монолитно-отчужденной каменной пустыне. О Москве – в интонациях нежности и благодарения, о Петербурге – как о мучительной любви. Русский характер еще раз отыскивает в Москве Эдем благой сосредоточенности над душой (например, П. А. Флоренский), а в Петербурге – Ад злокозненной неутоленности духа (например, А. А. Блок). Только теперь мы открываем для себя страницы биографии людей, вся жизнь которых – скольжение по оси «Москва/Петербург», все творчество которых – попытка замкнуть в чеканные формы петербургской логики растрепанную московскую душу. Таков А. Белый, автор романов об обеих столицах, один из главных инициаторов философии, эстетики и поэтики мирового города, таков Б. Л. Пастернак, такова А. А. Ахматова. Таков И. Стравинский, который впервые увидел Москву после полувекового странствования на чужбине. Истоки его «Петрушки» – не в праздничных балаганах Красной площади, а в ярмарочных подмостках Марсова поля.

Петербург – город-жертва, каменный каприз, воздвигнутый на зыбкой стихии, – все явственней обретает черты мета-Города. XX век принес мистериальное восприятие Северной столицы: все более Петр обретает черты Космократора, Нева – безликой стихии Хаоса, архитектурная громада Города – картины единоратного мирового зодчества, в замысле которого – погубить всякую малую частность и всякого маленького человека с его притязаниями на личное счастье. Космическая мифология Петербурга внимательно изучена в содержательных книгах Н. Анциферова. Наиболее полно в пределах XX века философию мета-Города развил Д. Л. Андреев<sup>81</sup>.

Если эстетизация Москвы и сложенные в ее честь хвалебные сочинения не поколебали ее репутации почвенного средоточия русского духа, то для Петербурга это обернулось множественностью обликов.

В многообразной литературе, посвященной жизни петербуржцев, есть и такие вещи, в которых мировой город сам по себе становился объектом сатиры. В приложении к «Синему журналу» за 1912 год авторы, скрывшиеся за буквами «А и Б», утверждают: «Мировой город имеет свою собственную железную логику и волю, которой безропотно покоряется пыль человеческая. <...> Петербург весел зеленой скукой. Летом, когда белая ночь <...> берedit и тревожит и без того издерганные нервы петербуржца, когда Нева застывает, пронизанная молочным светом, а Троицкий мост особенно ясно выгибает свою мзкую спину, сверкающую бриллиантом электричества, – это особенно чувствуется <...>»<sup>82</sup>. Одной из особенностей диалоговой истории явилась напряженная деятельность по переводу механизмов рефлексивного самосознания в адекватное ему слово. Наиболее интересные

<sup>81</sup> Андреев Даниил.  
Роза Мира // Новый мир.  
1989. № 2. С.

187.

<sup>82</sup> Столица России Нетто  
вроде монографии / Под  
ред. А и Б. Бесплатное  
приложение к «Синему  
журналу» за 1912 год.  
СПб., 1913. С. 52.

находки в этой области принадлежат не только «вершинной» философии, социологической и литературной продукции, но и бытовой журналистике, создавшей свои мини-памятники метаописательного творчества (со своей риторикой, тематическим репертуаром, жанрово-стилевой спецификой, со своими мастерами жанра). Метаописательное творчество – прерогатива мирового города, с его множественностью точек зрения, стилистическим плюрализмом и опорным ощущением традиции. Именно в творчестве такого рода наши столицы более всего – рабочие органы национального и межнационального культурного диалогизма. «...Существовал, правда, и существует «цех поэтов», но как организация, не направление. Внутренняя какая-то сдержанность и собранность не позволяла петербургским поэтам и стихотворцам прикреплять к себе какой бы то ни было ярлык. Ярмарочная суэта Москвы совершенно не знакома нашим, петербургским поэтам»<sup>83</sup>. Отметим, что названные здесь авторы – вместе и авторы параллельного журнала «Москва» (1918-1922). Диалог столиц разворачивается не только «внутри» частных биографий, но и порождает утопии-компиляции, вроде проекта «Петросква» в «Петербургских зимах» Г. В. Иванова (1928): «Между Москвой и Петербургом от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку», «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, не свойственной русской душе. Враждовали и обыватели, и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через 10 лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один, – Петросква, с центральной улицей – Куз-невский мо-спект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил – все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам»<sup>84</sup>.

Наш век формирует двойное отношение к Городу. С одной стороны, это пространство отчуждения, распадающихся связей, механизированной жизни. Отсюда – усиление «руссоистских» тенденций, идеализация деревенской жизни, бегство «в природу» (живой пример – судьба Е. Честнякова, художника, покинувшего Петербург, чтобы прожить длинную жизнь деревенского юрдивого, утописта-рисовальщика, сказочника и мечтателя). Так воспринимается город, обернувшийся к человеку своей цивилизаторской стороной. С другой – это Дом, первоисточник «всего, чем будет жить столетье», как сказано Б. Л. Пастернаком о Москве (см. его мемуары «Люди и положения»<sup>85</sup>).

Для Пастернака Москва – это город как школа культурного зодчества и перекресток мировых культурных традиций. Между «культурой» и «цивилизацией» в обрамлении «природы» стоит человеческая личность, в бытии которой пересекаются все три эти плоскости.

<sup>83</sup> Пяст В. *Поэзия в Петербурге. //Петербург. 1922. № 7.*

С. 14-15.

<sup>84</sup> Иванов Г. В. *Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. М., 1988. С. 340.*

<sup>85</sup> Пастернак Б. Л. *Люди и положения. Автобиографический очерк // Новый мир. 1967. № 1. С. 208.*

Мифология города – большая и серьезная тема; мы не будем здесь уточнять ее контуры. Отметим только, что диада «цивилизация/культура» имеет свои мифологические корреляты. Существует мифология культуры; одна из ее форм – так называемое «жизнетворчество», – осуществляемый, в частности, символистами тип поведения, в соответствии с которым быт обращен в театрализованную игру<sup>86</sup>. Возникает множество концепций . игры-жизни (А. Н. Скрябин, Н. Н. Евреинов, А. В. Луначарский). Город в философских трактатах и литературе авангарда наполняется персонажами карнавала, трагической клоунады, масками жизненной арлекинады, которые предвидел Д. Дидро, героями мировой демонологии. Рождаются свои мифологические монстры, вроде Недотыкомки из «Мелкого беса» Ф. К. Сологуба. Люди, как во времена классического романтизма, чувствуют себя внутри гигантского романа<sup>87</sup>. Это жизнеощущение стало, помимо прочего, формой бегства от города и его контрастов. Итогом подобного мифотворчества оказывается медленное и тяжелое трезвение, когда город вновь вплотную подходит к человеку и заглядывает в него пустыми глазницами фабричных окон. Мифологический наркоз – прямые издержки городского отчуждения человека.

<sup>86</sup> См.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф – фольклор – литература. Л., 1978. С. 137-170.

<sup>87</sup> «Символизм в поэзии — дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы рождаются там, где еще нет мифов, но где уже нет веры. Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовой фонарей и лунных декораций. Они скоро осваиваются не только с тревожной биржи, но и зеленого сукна, но и со страшной казенничной какого-нибудь парижского моря, и даже среди отвратительных по своей свержности восков музея» (Анненский И. Ф. Книжки отражений. М., 1979. С. 359).

Выполняя компенсаторную функцию, мифология города создает и празднично-облегченный, и трагический, а чаще – апокалиптический образ невозможной на земле жизни. Город как апофеоз власти Князя тьмы и его зловещих вестников – тема эссе Д. Мережковского. Феофан Прокопович, напоминая он читателю, «называл Петра I Христом, а раскольники называли его “антихристом”. Петербург и есть та “вечная дыба”, на которой пытаются: “Христос или Антихрист?”» В «Призраках» Тургенева (1864) Мережковский нашел близкий эсхатологическому настроению XX века «громадный образ закутанной фигуры на бледном коне», что «мгновенно встал и взвился под самое небо». Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: “И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть”». «Несколько лет назад, в один морозно-ясный день, полыхали над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние <...>. Когда я смотрел на эти знамения, то казалось, вот-вот появится “конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть”».

1917-1918 годы – время особенно острого переживания финала петербургского периода. Искусствовед и архитектор Д. Аркин публикует текст с многозначительным заглавием: «Град Обреченный». На символистском жаргоне со ссылкой на эссе Вяч. Иванова «Лик и личности России» (1917) говорится о сведении в облике Петербурга «Руси Аримановой» (что означает здесь «Восток», «Хаос», «Природа») и «Руси Люциферовой» (соответственно: «Запад», «Космос», «Логос»). «Образованный этими двумя стихиями, не включающий в свое существо чего-то третьего, что именно и есть единственная и

<sup>88</sup>Ср.: Миц 3. Г. Три всадника // М. В. Ломоносов и русская культура. Тарту 1968. С. 59-62.

<sup>89</sup>Ср.: Калиостро «даже казалось, что призрачный свет самое подходящее освещение для призрачного плоского города, где полые воды Невы и каналы, широкие, как реки, перспективы улиц, ровная зелень стриженных садов, низкое стеклянное небо и всегда чувствуемая близость болотного неподвижного моря, - и все: и город, и река, и безглазые люди – исчезнут и обратятся в ровное водяное пространство, отражая жемчужину ночного стеклянного неба. Все будет ровно, светло и сумрачно, как до сотворения мира, когда еще Дух не летал над бездной» (Кузмин М. А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзама о, графа Калиостро, в его кн.: Стихи и проза. М., 1989. С. 348).

подлинная сущность русской души, Петербург – вне святой Руси <...>. В этом разгадка его страшного одиночества, его отторженности от живого тела России: в этом – разгадка того противления идее Петербурга, которое проходит через все русское творчество <...>. В 1918 году в Петербурге вышел сборник статей шести авторов – «Петербург и Москва». В его составе – статья Д. Заславского, построенная по композиционному принципу квадрата, каждый угол которого занят символическим Всадником. Четырем главам эссе предшествуют четыре эпиграфа из текста Апокалипсиса, смысл которых раскрывается на конных монументах: Конь Белый (Медный Всадник), Конь Рыжий (Клодтов Николай I перед Исаакием), Конь Вороной (творение П. Трубецкого, запечатлевшее Александра III), Конь Бледный (еще не воплотившийся, но «незримо уже стоит он на Марсовом поле») <sup>88</sup>.

Все настойчивее цитируются в апокалиптических петербургских текстах старые вещи Гоголя и Достоевского, от которых ведет свою традицию тема демонизированного города. Цитаты из «Невского проспекта» и «Подростка» переполняют массовую публицистику. Вот И. Лукаш с очерком «Невский проспект»: «Кто он, этот призрачный Невский проспект, и кто сможет отгадать тайну его лица полупалача, полупоэта, полусвятого, полу кликуши?..» Ответной интонацией звучит заметка И. Потапенко: «Это – Петербург – эпилептический каприз гениального деспота <...>». Сходным образом обыгран город-призрак у Н. Устрялова: «Обманчива, неуловима как-то, многообразна его внешность, его оболочка. Вероятно, именно поэтому издавна считался он в России городом призрачным, миражом и маревом, где все зыбко и непрочно, неподлинно, – и люди, и здания, и мысли, и дела... А некоторые, возбужденные экзотической враждой, даже творили заклинание: “Петербургу быть пусту”» <sup>89</sup>.

## Внеприсутствие в диалоге

Зарубежная культурфилософия с новой остротой переживает столичные приоритеты.

Одним из следствий переименования «петербургского» (как традиционного историко-культурного атрибута) в «петроградское», а затем в «ленинградское» станет то, что принадлежность к бывшей столице государства станут осмыслять политически. Только на этой основе станет возможным существование выражений типа «ленинградское дело», «московский центр», за которыми, как мы теперь знаем, не стояло подлинной реальности 30-50-х годов, основным свойством которой стала контролируемая социальная однородность. Две мировые столицы подвергаются культурно-исторической репрессии: из зоны диалога они переводятся в Зону молчания. С 1934 года, после убийства С. М. Кирова, переживает свою карфагенскую судьбу Ленинград (в ином варианте она повторится в дни блокадного геноцида). В эти же годы обезлюдует и обезголосит Москва; замолчит вся великая многоэтничная держава и ее столицы.

Статья Г. П. Федотова «Три столицы» выгодно отличается (на фоне пессимистической прогностики Зарубежья) чувством исторической надежды.

Когда для эмигрантской печати большевистская Россия утвердилась в качестве факта, Петербургу припомнили его грех европеизма. Вновь на первый план выходит антитеза города и страны. Невская столица опять воспринимается как самоотчужденная Россия, но именно в этом качестве – и как русский город по преимуществу. В философском романе Ф. А. Степуна «Николай Переслегин», с героями которого автор состоит в сложных отношениях притяжения-отталкивания, говорится: «Какой великий, блистательный, несмотря на свою единственную в мире юность, какой вечный город. Такой же вечный, как сам древний Рим. И как нелепа мысль, что Петербург, в сущности, не Россия, а Европа. Мне кажется, что Петербург более русский город, чем Москва <...>. Только в России есть своя анти-Россия: Петербург <...>. И в этом смысле он самый характерный русский город»<sup>90</sup>. Ф. А. Степун развивает этот тезис за два года до выхода романа: «Дитя петровских реформ, русская интеллигенция в своем отрыве от национальных корней <...> отнюдь не менее национальна, чем явления Петра и Петербурга. Даже если и видеть в Петербурге анти-Россию, то нельзя все же не видеть, что, кроме России, нет ни одной страны в мире, в которой образ столицы был бы зримою антитезою образа страны»<sup>91</sup>. Для автора «Трех столиц» Петербург также есть «Рим», и именно поэтому, как «всякий» Рим, в свой роковой час он встает на край гибели. С другой стороны – «кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов, и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?» Не забудем, что это пишет автор статьи о Ключевском, разрушителе дворянских традиций в историографии, в частности, Карамзина, который назван Г. П. Федотовым «поэтом империи». Как Захаров и Росси создали римскую архитектуру империи, так и Карамзин, полагает философ, заставил героев ее истории говорить языком классической древности<sup>92</sup>. В. О. Ключевский в роли «последнего очевидца-свидетеля московского царства» вполне устраивает Г. П. Федотова, потому что в какой-то мере это и собственная его позиция. Сотворив отходную Петербургу, он тут же приветствует в нем ... «православный Петербург, столицу Северной Руси». Это – самое поразительное место федотовской работы. Прочитаем его еще раз: «...Только в последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, – и оказалось <...>, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петербург <...>. Интеллигенция почти не замечала народного, православного Петербурга, с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной <...> атмосферой пламенной веры».

<sup>90</sup> Степун Ф. А. Николай Переслегин. Париж, 1929. С. 328.

<sup>91</sup> Степун Ф. А. Мысли о России // Современные записки. Париж, 1927. Т. 32. С. 306.

<sup>92</sup> Федотов Г. П. Россия Ключевского // Современные записки. Париж, 1932. Т. 50. С. 341, 356.

Г. П. Федотов пытается в картинах исторических отношений трех столиц привести к некоему компромиссу евразийскую панораму «русского пути» с этической рецептурой христианского социализма. Евразийская позиция и полемика с ней сформулирована в ряде статей философа, наиболее отчетливо – в работе 1945 года «Новое отечество».

В антикарамзинских интонациях воссоздает Г. П. Федотов картину киевско-азиатско-западной Империи, соединившей в своих географических и исторических горизонтах духовный опыт и государственность рас-антиподов и племен-родичей, наций-врагов и народов-друзей. Результатом этого синтеза стало формирование в России культурных центров, более азиатских, чем сама Азия (Москва), и более европейских, чем сама Европа (Петербург). Полемическое заострение мысли о двух «соблазнах», постигших отечество («азиатский соблазн» Москвы и «европейский» – Петербурга) нужно русскому мыслителю, чтобы, во-первых, объявить итоговую русскую ментальность «псевдоформой»<sup>93</sup> (этим термином, вошедшим в философский обиход благодаря книгам О. Шпенглера, охотно пользовались евразийцы<sup>94</sup>), а, во-вторых, чтобы указать выход из тупиковой, как кажется Г. П. Федотову, ситуации. Типологически рецепт Г. П. Федотова напоминает мысли автора «Философических писем» о возврате России ко временам выбора исторического пути. Но если для П. Я. Чаадаева такой возврат мыслился, как принятие Россией судьбы католического Запада, то Г. П. Федотов предлагает нам вспомнить о святых холмах Киева, ибо «здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в своем искусстве заветы эллинизма и Азии». Коль скоро, полагает Г. П. Федотов, «лихорадящий Петербург и обломовская Москва – дорогие покойники», пусть святая София Киевская «третьей столицы» напомнит нам об утраченной чистоте греческого православия и спасет нас как от гордого национального самодовления (наследия Москвы), так и от латинского цивилизаторства (наследия Петербурга). П. Я. Чаадаев пересмотрел свои взгляды на допетровскую Русь и Византию; Г. П. Федотов так и остался при тезисе: «Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву...»<sup>95</sup>, – этим тезисом, вероятно, могла бы гордиться история русской мысли, не будь он так привычно окрашен в интонации ностальгии по подлинной исторической нравственности... С первым «Философическим письмом» сближает федотовскую статью и культурно-исторический поворот вопроса о несвободе как национальном качестве русских. По мысли «басманного философа», следствием крепостничества в России стала рабская психология всех сословий без исключения. Развивая эту мысль, Г. П. Федотов говорит о московской привычке к рабству, о петербургской «культуре рабства»<sup>96</sup>. По убеждению философа-эмигранта, петербургская Империя может держаться только на «московском человеке». Социальная привычка предостояния сильным мира сего упраздняет разницу столиц. Нет диалога центров и провинций, есть монологическая социальность,

<sup>93</sup> Федотов Г. П. *Революция идет // Современные записки. Париж, 1929. Т. 39. С. 309.*

<sup>94</sup> *Критику «морфологической» философии истории евразийцев см.: Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Современные записки, Париж, 1927. Т. 33. С. 12-346.*

<sup>95</sup> *Ср.: Иппо С. Б. Москва и Лондон. Исторические, общественные и экономические очерки и исследования. М., 1888. С. 153.*

<sup>96</sup> Федотов Г. П. *Письма о русской культуре. Завтрашний день // Современные записки. Париж, 1936. Т. 61. С. 357.*



равнодушная к исходам совершаемого над ней эксперимента: «Вековая привычка к повиновению, слабое развитие личного сознания, потребность к свободе и легкость жизни в коллективе, «в службе и тягле» – вот что роднит советского человека со старой Москвой <...>. Теперь и Сталин сознательно строит свою власть на преемстве от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его»<sup>97</sup>.

Г. П. Федотов в немалом числе своих работ выступает в качестве аналитика классовой борьбы, комментатора общественно-политической ситуации в России. Он был принципиальным противником такой революции, которая не знает счета жертвам и которая теряет гуманистические ценности в азарте «красного террора» и последующем энтузиазме репрессивного аппарата. Г. П. Федотов понимал, что 1917 год ставит его перед фактом рождения личности нового типа, но оценить ее в режиме федотовской логики оказалось несколько затруднительно. Так, у автора «Трех столиц» возникает методологическое противоречие между теорией и историей, которое он пытается преодолеть тем универсальным способом, когда можно примирить все, что угодно. Это – миф, по самой своей природе снимающий логические противоречия конструкции. Когда противостояние России и Петербурга трактуется как борьба отца с сыном (Империи с порождаемой ею Культурой или Империи с Революцией); когда отношения Москвы и Петербурга переводятся в план мифологии «женского» и «мужского»; когда бесцельно-деятельная Москва населяется Сизифами, которые все ворочают свои камни, и Пенелопами, которые все распускают натканное за ночь; когда Фальконетов монумент, переживший столько толкований, трактуется теперь на жаргоне облегченного фрейдизма, – читателю становится понятным, что эти образы не ждут от него ответной реплики: их можно либо принять целиком, либо не согласиться вовсе. Свое место в этих мифологических рядах занимает и апокалиптический образ Петербурга, не знающий предела жертвы, и этот смертный грех искупающий жертвенной смертью. В этом последнем моменте – центральная точка размышлений Г. П. Федотова о русской земле и ее духовных средоточиях. Он ищет безгрешную землю, ту «почвенную» Русь святую, Ойкумену изначальной благодатности, где укоренилось «древо» исторического смысла русской нации и русского человека, славянского гения. Что еще остается Г. П. Федотову, русскому историософу и богослову, как не привести нас под гулкие своды великой Софии Киевской? Так он и поступает в конце статьи.

Как и Федотов, необходимость противостоять модному в эмигрантских группах апокалипсису культуры осознает и Замятин, написавший в 1933 году эссе «Москва-Петебург» (опубл. 1963)<sup>98</sup>.

<sup>97</sup> Федотов Г. П.

*Письма о русской культуре. 1. Русский человек / Русские записки. Париж, 1938. Т. 3. С. 259.*

<sup>98</sup> Русская

*эмиграция была мировой, с десятками издательских центров: от Чикаго и Нью-Йорка до Харбина и Шанхая, от Западной Европы до Канады, от Австралии до Египта. Уже эмигранты «первой волны» в своих оценках философской и литературной продукции зарубежья быстро локализовали эмигрантскую «Москву» и эмигрантский «Петербург». Так, в одном из обзоров М. Осоргин писал: «В самой России в свое время было два литературных течения: петербургское и провинциально-московское <...>. Новаторство формы принадлежало к Петербургу, твердость литературы была русская провинция с центром в Москве. В эмиграцию ушел главным образом Петербург <...>. На Дальний Восток ушла через Сибирь провинция» (Современные записки. Париж, 1936. Т. 60. С. 467).*

Эмигрантские историки культуры оставили далеко не частные наблюдения над прошлой общественной жизнью столиц. Так, историк духовного просвещения Г. Флоровский (бывший в эмиграции деканом Богословского института в Париже), выяснил, что в 10-е годы XIX века сложилось два типа богословского образования: в Московской Академии ее ректор, Филарет Московский (до 1919 г.) «был самым властным и ярким представителем того нового «сердечного богословия», которое прежде всего и преподавалось в преобразованных духовных школах. И задача образования полагалась именно в «образовании внутреннего человека», в том, чтобы внушить живое и твердое личное убеждение в спасительных истинах веры. <...> Другое тогда было принято называть «неологизмом», – это была школа морально-рационального истолкования христианства. В С.-Петербургскую академию именно это направление было занесено Фесслером...»<sup>99</sup>.

<sup>99</sup> Флоровский Г. В. *Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 184-185. Ср. Шпет Г. Г. Соч. М., 1989. С. 284-285.*

Интонацией ностальгии пронизаны и петербургские философские мемуары В. Вейдле. Его «Петербургские пророчества» завершаются образом растворяющегося в мареве Обреченного Града: «<...> Арка Главного Штаба бескорыстно замыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких небесах; из времени он вернулся к вечности. Подолгу, подолгу с моста можно было смотреть на линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские болота, а потом леса, пажити, разливы, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга».

В импрессионистическом видении К. И. Зайцева Петербург преодолевает свою трагическую судьбу; апокалиптический катарсис истории преображает, просветляет, темные глубины его души: «Вздывается величественный Петербург, художественное воплощение Императорской России, прямолинейный и холодный ее властелин. Окутанный дрожащей золотистой мглой улетающих туманов, уносящийся неясными очертаниями в смутную, сливающуюся даль, напоенный какой-то призрачной фантастической раскраской, жутким маревом высится Петербург над ушедшей Россией. <...> Бесстрастный и непреклонный, как судьба, стоит каменный исполин, и нерушим зарок, давший ему господство над зачарованной Россией» («Сумерки культуры», 1921).

Как своевременно звучат эти слова теперь, когда Петербург дождался возвращения себе исторического имени. Страх и ужас перед будущим преодолеваются в историческом катарсисе.

Петербург умер – да здравствует Петербург! Петербургский Апокалипсис не завершился: он стал живой эсхатологией надежды. Душа Москвы и гений Петербурга стоят в наши дни на пороге новых диалогических инициатив.

## Итоги

Почти два столетия Петербург своим внешним обликом несет традиционному сознанию нечто принципиально новое, что нередко воспринимается враждебным привычному укладу жизни. Новации Петра и немногих его единомышленников вызвали у византийски благолепной Москвы состояние социального шока. Понадобился авторитет императорской власти, чтобы реформы осуществлялись на деле. Рост новой столицы как бы контрагентен Москве, при том, что одна из частей города носит название Московской, а площадь с торговыми рядами вокруг Троицкой церкви на Городском острове воспроизводит старомосковскую композицию. Линейный Петербург внешне выглядит как анти-Москва. Длительное время Петербург «перекачивает» интеллектуальную энергию древнего центра, чтобы на новом месте возникло столь необходимое для эволюции культуры «противословие», своего рода культурно-диалогическая оппонентура, альтернативная национальная характерность.

Петербург уникален тем, что он возникает в лабораторных условиях государственного эксперимента. Это зодчество, открытое всем направлениям; геометрия прямых, уходящих в бесконечность; законотворчество для принципиально нового народа; воздвижение Нового Вечного Града наперекор стихиям и здравому (т. е. московскому) смыслу; сакрализация власти при десакрализации церкви; иной отсчет времени и качественное переосмысление истории; модернизация гражданского шрифта и превращение сухопутного народа в морской; ломка кровно-родственных привилегий и воспитание в нации родства с Европой; научение новому пространственному видению в искусстве и в исторической перспективе; выведение научной мысли из схоластической стагнации на простор созидательного энтузиазма; выращивание новой породы людей, совмещающих глубокоую безнравственность в быте с высоким патриотизмом и доблестью гражданина Империи, а рядом с этим – потешная евгеника и кунсткамера раритетов, – все это сложно переплетается в характере новой столицы, города на Неве – Санкт-Петербурге.

Ландшафт Москвы – это федерация ансамблей. Иностранцев, попавших в Москву, поражало производимое ею впечатление – смесь ужаса и легкомыслия. Страх наводила кремлевская цитадель, сверхкрепость, подминающая своим глухим величием пеструю архитектурную мелочь, обступившую ее по всему периметру. Ощущение разлитой в воздухе беспечности создавала московская толпа: создавалось впечатление, что эти люди собрались жить вечно. В этом трудноуловимом логикой качестве обитателей Москвы заключается один из ее национальных секретов. Москва похожа на что угодно, только не на мировой город. Но мировой столицей делает ее, помимо прочего, глубочайшая национальная основательность тех, кто определял ее лицо. Это люди, и впрямь убежденные, что все рухнет рано или поздно, и всю Вселенную заметут пески забвения, а Москва стояла и стоять будет, ибо в ее праисторической глубине – корни миллионов

живых существ, питающие своей памятью о потомках теперешнее поколение и радеющие о будущем.

Москва – город родственников. Кровнородственное, языческое в своих основах мироощущение Москвы – ее субстанция. С этим связана и глубоко московская православная эстетика сорадования бытию, в ее открытости, предсказуемости, а значит, надежности. Живая демонстрация эстетики соликования и язычески безудержного оптимизма – Покровский собор. Восток и Запад, минарет и псковский однокупольный храм-игрушка слились здесь, многократно перемножившись. Василий Блаженный – это ансамбль храмов под общей крышей, ставший откровением родственности по контрасту содружества несродных объемов; они образуют абсолютное совершенство целого. Это храм-улыбка, тонкая ирония православия, радостная молитва в камне, московская альтернатива Византии. Эти камни и многоцветные купола прекрасно знают пословицу, которая только на русской почве могла возникнуть в ответ на иконоборческие страсти: «Годится – молиться, не годится – горшки накрывать». Но стоит войти в стены этого храма, как проясняется обратная сторона темной в своей последней глубине души православного язычника: узкие проходы, ступеньки для гигантов, тесные, низкие приделы, сдавленность, плен добровольный, храм-тюрьма (таким, в частности, было впечатление барона де Кюстина). Храмы и хоромы московские стремятся похоронить живого человека под тяжкими сводами цитаделей. Такова московская «свобода», от которой бежал Петр, чтобы выстроить на берегах северных рек новый город фасадной Империи. Истоки этой фасадности – в двусмысленной, оборотнической архитектонике московского стиля мышления и московского зодчества.

Москва князя М. М. Щербатова – хранительница престола Державы, святоотеческой славы и знания, в ней – обетование мирного жития. Для М. Н. Загоскина – хлебосольная и решительная в своих действиях, хозяйка национального дома. Для П. Д. Боборыкина – столица русской провинции и один из центров интеллигенции. Петербург для Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, В. Г. Белинского – это город-цивилизатор, европейская «детская» России.

Непрерывности спора столиц способствовали такие книги, как «Россия в 1839 году» А. де Кюстина (1843; рус. пер. 1910); косвенным ответом на «Санкт-Петербургские вечера» Ж. де Местра (1821) стало сочинение Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae» (1922).

Основной набор смысловоразличительных факторов столиц задан участниками диалога. Среди главных достаточно рано был определен тип поведения горожанина. Поведенческое «древо» петербуржца и ролевой репертуар москвича были теми объектами наблюдения, в которых разница угадывалась наиболее легко. Московский щеголь и петербургский денди, барские слуги в Москве и лакеи чиновников в Петербурге, купец в московском ресторане и новоявленный «миллионщик» на Невском, «мадам» из модного магазина на Кузнецком мосту и приказчик в Гостином дворе, помещик-чужак из подмосковной

усадебны и петербургскй дачник, мужик на извозе на Тверской и лодочник с Фонтанки; в обеих столицах – военные и провинциалы, искатели счастья и фельетонисты, городовые и студенты, блестящие авантюристы и жулики всех специальностей, архиереи и генералы, цирюльники и нищие, «магдалины» и «камелии», прачки и книгоноши, белошвейки и гимназистки, точильщики и шарманщики; немцы и французы, татары, хохлы, цыганы, молдаване, – вся эта разноэтническая и многоязычная толпа мгновенно выстраивалась в дробные ряды соответствий, когда возникала необходимость сравнить обитателей главных городов России.

Культура существует, пока живет диалог позиций. Историческая функция мировых столиц – собирать, прояснять, запоминать и генерировать культурное многоголосие нации и человечества. Не только в столицах сосредоточиваются культуротворческие силы народа, но именно в них определяются стратегии духовного развития. Москва и Петербург – центры исторического самосознания.

Каждая из столиц накапливает свой ценностный мир, строит свою мировоззренческую позицию, определяет свою меру диалогической активности. Взятые порознь, наши отечественные метрополии: демонстрируют крайние точки той амплитуды идеологических и эстетических предпочтений, в пределах которой русская мысль совершает свой выбор, создает свою мифологию, образ жизни и национальное поведение, а нация – свой способ самоопределения в принадлежащем ей историческом пространстве.

Диалог стал способом внутреннего духовного роста: глядя друг на друга, два мировых города создали ситуацию культурного агона и не лишнего азарта культурного соперничества, в котором ревность одного города к другому в результате обернулась соревновательным просветительством, а конъюнктурный пересчет приоритетов пошел в пользу общего дела.

Столицы отечества осознаются в роли осевых нитей, проходящих сквозь миры «Византия / Азия», «Восток / Запад».

Национальное сознание утвердилось на том, что если Петербург считает Москву византийско-азиатским захолустьем, то и Москве не зазорно видеть в Петербурге европейскую провинцию. И наоборот: раз Москва есть духовная родина великой державы и хранительница древней славы отечества, то Петербургу пристала роль цивилизаторского представительства России на Западе. Эти предельно упрощенные формулы с трудом охватывают лишь поверхностные аспекты диалога. Суть его в другом – в двуголосом самообнаружении национального сознания. Диалогическая голосовая открытость в пространство мировой культуры отразилась в том качестве русского характера, которое Достоевский определил как «всемирную отзывчивость».

Русский характер – еще один результат двуголосой московско-петербургской культуры. Яркая общительность и углубленная сосредоточенность,

бескорыстный артистизм и любовь к крайностям, универсальная открытость миру и спокойное сознание своих возможностей, фантазерство в сочетании с исторической надеждой – все эти свойства русского человека закреплялись в диалоге столиц.

С формированием в русской культуре межстоличного диалогизма происходит важный историко-психологический процесс: возникает новый тип городской личности, который характеризуется непредсказуемым сочетанием несочетаемых ролей, например, гуляки и одинокого мыслителя, салонного краснбая и мизантропа, аскета-мистика и домашнего гаера, радикала и консерватора и т. п. Характер горожанина перерос социальную знаковость ролевого поведения и вошел в конфликт с сословно-ролевой иерархией общественного этикета. Петербург, задуманный как идеал регулярного мегаполиса, стал источником иррациональных мотиваций в поведении наследников Петрова града: ни в одной географической точке Империи человека не охватывало с такой полнотой чувство неосознанной тревоги, непрерывно растущего внутреннего напряжения, той особенной городской меланхолии и затерянности в пустом холодном мире, которое стало эмоциональной основой для своего рода «петербургского экзистенциализма». Можно сказать, что «философия города» (словом «философия» мы обозначим здесь не систему взглядов, а способ выразительной рефлексии) становится как бы привычным состоянием активно бодрствующего и подстегиваемого внутренней тревогой человека. Это состояние точно зафиксировал неутомимый наблюдатель психологии горожанина Ф. Б. Булгарин: «Петербург именно город философский: каждую минуту напоминает вам непрочность и неверность всего земного <...>»<sup>100</sup>.

<sup>100</sup> Северная пчела.  
1845. № 249. С. 992.

Диалог Москвы и Петербурга происходит в форме взаимных интерпретаций, это диалог зеркал, в каждом из которых с большей или меньшей достоверностью мы видим отражение оппонента. Московский образ Петербурга, петербургский образ Москвы (образы их обоих из периферийной глубины) порождались в отношениях обмена культурной информацией.

Обратной стороной внешнедеятельного, бодрого петербургского типа стала загнанность вовнутрь его природной публичности и потребности в непрерывном самовыражении. Формой внешнего проявления обитателя Невской столицы стало социальное лицемерие с незаметным переходом его в общественный самообман. Отношения людей уподобились театру, столь уместному в городе-декорации. Но ценой этой игры в жизнь стала непомерная доля отрицательных эмоций в повседневном быте горожанина. Природные привычки созерцательности и безотчетной рефлексии преобразовались в русском характере в чувства гнетущей тоски, безнадежности, круговой поруки отчаяния. Великолепный град фасадной Империи обратился в золотую клетку. Но он же оказался для русских путешественников зоной сильнейшего притяжения, хотя именно Петербург породил специфическую

эмоцию «ностальгии наоборот»: тоску по Европе – духовной родине. Петербург не отпускал от себя человека, однажды заглянувшего в его каменную душу; он обладал и обладает жутковатой, трагической притягательностью. Поэтому отечественные публицисты говорят так часто о трагическом облике Петербурга. О мучительном городе пишут А. И. Герцен и Ф. М. Достоевский, в XX веке традиция переходит к Г. П. Федотову, который в статье «Три столицы» размышляет о «трагической красоте» Петербурга, а Н. П. Анциферов суммирует трагедийный финал петербургского периода русской истории в формуле «трагический империализм».

Сдержанный трагизм русского существования компенсировался неизбывным московским оптимизмом. Сказанное не следует понимать так, что Москве достался удел города дон-кихотов, а Петербургу – города гамлетов; роли могли и меняться. Петербургский эксперимент по отчуждению личности объективно нуждался в источнике национального нравственного здоровья, – и он получал его в диалогическом окликании древней столицы.

Мы пытались прояснить самые важные моменты диалогической «программы»: русская идея как особая философия истории; место и роль Москвы и Петербурга в мировом историческом пространстве; прошлое, настоящее и будущее всемирно-исторических триад: «Византия – Русь – Восток», «Запад – Россия – Азия» и др.

Три века спора Москвы и Петербурга создали исторически-непрерывную традицию свободного диалога культур. Небрежение этой традицией грозит нам культурной амнезией, а значит, и утратой главных опор существования.